

Литературный Азербайджан издаётся Ежемесячный литературно-

№ 7

с 1931 года

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ УЧРЕДИТЕЛЬ - СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Таир АЛИ. Мишоппа. <i>Роман (Окончание)</i>	3
Марк БЕРКОЛАЙКО. Седер на Искровской	94

поэзия

Лада СМИРНОВА.	Cmuxu	126

ПУБЛИЦИСТИКА

2022

аджи Фирудин ГУРБАНСОЙ. Герой сатиры М.А.Сабира	
Мохаммед Али-шах	84
Гюлюш АГАМАМЕДОВА. Коллективная ответственность	130

Главный редактор – Солмаз ИБРАГИМОВА

Ответственный секретарь – Эльдар ШАРИФОВ – СЕЙШЕЛЬСКИЙ

Отдел поэзии – Алина ТАЛЫБОВА

Отдел подписки и рекламы – Джамиля ШАРИФОВА

Литсотрудники – Егана МУСТАФАЕВА, Натаван ХАЛИЛОВА,

Ниджат МАМЕДОВ

https://soundcloud.com/nijat-mamedov-489264474

https://www.youtube.com/channel/UCoPQ9ounuR9X3KgCh0JdFYg

Корректор – Анна КУЗЁМКИНА

Редакционная коллегия: Почетный аксакал «Л.А.» Сиявуш МАМЕДЗАДЕ,

Кямаля АГАЕВА, Эльмира АХУНДОВА, Агиль ГАДЖИЕВ,

Асиф ГАДЖИЕВ, Шелаля ГАСАНЛИ, Александр ГРИЧ (Лос – Анджелес, США), Динара КАРАКМАЗЛИ, Азер МУСТАФАЗАДЕ,

Эльчин ШЫХЛЫ

Литконсультант – Натиг РАСУЛЗАДЕ

Журнал зарегистрирован 19.04.96 г. в Министерстве печати и информации Азербайджанской Республики Регистр. № 352

Адрес редакции:

AZ 1000, Баку, ул. Хагани, 53

Электронный адрес: litaz1931@gmail.com

Сдано в печать 13.06. 2022 г. Бумага офсетная. Формат 70х100 1/16 Печать офсетная, 8.25 печ. л. Тираж 400

Отпечатано в типографии «OL»NKPT MMC

Тел.: 497 – 36 – 23

Адрес: ул. Мирзы Ибрагимова, 43

ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКАХ ССЫЛКА НА ЖУРНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. В публикуемые материалы редакция вносит необходимую правку.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «OL»NKPT MMC

ТАИР АЛИ *МИШОППА*

Роман*

Глава девятая

Дворец, Колодец и Змея

– У меня только пять... – виновато сказал Искендер. – Больше не смог.

Они встали у стеклянного входа на станцию метро «Мэмар Аджеми».

– Как же так? Предупредил же, десять нужно! А ты только половину принес! Охох-ох...! – завертелся на месте мишоппа, то стаскивая, то натягивая обратно на бронзовую лысину лыжную шапочку. – Ведь все дело испортил! Какой же ты бестолковый...! Кинул меня, вот как это называется!

Он все вертелся, рассерженно топая черными солдатскими ботинками, и совершенно не обращал внимания на удивленные взгляды пассажиров, входящих и выходящих из дверей станции.

– Так дела не делают...! Как теперь быть? Лучше бы мне на голову булыжник упал в тот день, когда я с тобой связался! Целый «КамАЗ» булыжников...! Давай возвращаться!

Искендер, смущенный вниманием прохожих, улучив момент, ухватил его за рукав куртки:

– Я потом принесу, обещаю, пойдем...

И тут мишоппа вдруг успокоился, поправив съехавшую на ухо шапочку, сказал деловито:

- Пять манатов, говоришь? Ладно, давай сюда, пока не потерял. Получается, ты мне еще десять должен. Не забудь.
 - Почему десять?

Абабиль постучал себя в лоб костяшками пальцев:

- А проценты? Забыл? Сейчас без них никому в долг не дают. Дураков нет. Я же не сберкасса. Придется свои докладывать. Радуйся, что всего два процента.
- Где же два? удивился Искендер. Было десять, я пять отдал и опять десять должен? Так, что ли?

Мишоппа безнадежно покачал головой:

– Совсем не соображаешь. Конечно, десять! Пять на два делает сколько? Десять, так что все точно! А если бы сорок было? Ты б мне тогда двести должен был...!

Арифметические доводы Абабиля не показались Искендеру сколько-нибудь убедительными. Хотя он и сам не слишком разбирался в процентах и долях, но был точно уверен, что два процента от пяти никак не делают десять.

– И не спорь! – легко сорвавшись с места, воскликнул мишоппа, бросившись вприпрыжку к ярко освещенным киоскам вниз по улице. – Я сейчас...!

Что оставалось делать? Ждать. Стащив со спины рюкзак, Искендер поставил его себе под ноги.

Как долго отсутствовал мишоппа, сказать трудно. Но вернулся он, торжественно держа перед собой на весу литровую бутылку зеленой газировки.

– Будешь?

^{*}Окончание. Начало см. № 6.2022г.

После всей беготни Искендеру действительно хотелось пить.

- Тархун! сообщил Абабиль, с тревогой наблюдая за тем, как, морщась от колючих пузырьков, Искендер отпивает из горлышка. Не пролей... Искендер протянул газировку обратно, мишоппа немедленно приложился к ней и уже не отрывался, пока не влил в себя все до последней капли. О-о-о-х! протяжно рыгнул он. Благородный напиток... Жалко, денег в обрез, я бы еще бутылочку взял. Ладно, твоя очередь рюкзак нести.
 - Так я и так его весь вечер таскаю... возмутился Искендер.
- Любишь ты спорить, брат! Слова тебе не скажи, в кого ты такой уродился? И жадный, между прочим...! Пошли, от Вторника самая малость осталась! не дожидаясь Искендера, с пустой бутылкой в руках скользнул он за стеклянные двери и, примерившись, запрыгнул на эскалатор.

Новенький вагон оказался полупустым. Во всяком случае, свободные места были.

С того момента, как перед турникетом полицейский проверил металлоискателем их рюкзак, мишоппа заметно преобразился. Куда-то подевались его привычная болтливость и забавные ужимки. Видимо, под впечатлением от всех подземных красот мишоппа заметно приосанился и с уважением поглядывал на обшитые мрамором колонны и бронзовые люстры, напоминающие гигантские еловые шишки. При этом, судя по всему, в метро Абабиль уже бывал. И, скорее всего, не один раз. Знал он весь необходимый этикет, куда идти, как пользоваться эскалатором, у него даже оказалась с собой проездная карта «BakiKART», обернутая в кусок целлофана, на которой он лишь пополнил баланс в платежном терминале, со знанием дела скормив ему мятый манат. Короче, совсем неплохо для того, кто живет в самоходном дереве, да еще и с разговаривающей полумышью.

Двери закрылись, состав, наконец, тронулся.

– ...можешь толком объяснить, что за колодец такой?

Не глядя на Искендера, мишоппа процедил сквозь зубы:

- Тише говори. Молочный.
- Так это я уже понял, что молочный! Только это и повторяешь! А где такой находится...?

Абабиль в очередной раз обвел полупустой вагон цепким взглядом, ответил шепотом:

- Во дворце.
- Где?
- Дворец, еще неразборчивее произнес мишоппа.

Набирая скорость, состав с воем несся в туннеле.

- Чего…? Дворец…?
- Угу.
- Какой еще дворец?

Мишоппа не ответил, уставившись неподвижно в темное окно напротив.

- Объясни же ты по-человечески... какой еще дворец? Где он...? Там, что, реально колодец с молоком...? Да ты заснул, что ли? Искендер стал теребить его за рукав куртки, но мишоппа упрямо не отвечал и только сурово шевелил кустистыми бровями. Пришлось Искендеру оставить его в покое. Так проехали они две станции, не сказав ни слова. Лишь на «Академии», когда пустовавший до этого вагон быстро заполнился пассажирами, Абабиль вдруг резко пихнул Искендера локтем в бок.
- Не говори ни слова... прошипел Абабиль ему на ухо, скосив глаза к дальней двери, в которую, среди прочих, вошел очень высокий гражданин в черной кепке. Оказавшись в вагоне, он стал сразу же без церемоний протискиваться между пассажирами и, когда поезд снова тронулся, уже стоял перед Искендером и Абабилем, вцепившись в поручни тощей, как плеть, рукой. При этом рукав его широкого плаща,

скатившись до локтя, повис вниз вороновым крылом, который покачивался в такт движения поезда. Лицо у гражданина тоже было примечательное: не лицо, а настоящий череп, обтянутый дряблой кожей с ввалившимися вовнутрь глазами, выцветшими до белизны, как у дохлой рыбы.

- Здорово, брат! неприятно ухмыльнулся он, наклонившись к Абабилю. Катаемся?
- Давно не виделись, с достоинством кивнул ему мишоппа, но, не удержавшись, заерзал на месте, будто сидел на пчелином улье.
- С прошлого праздника получается, с той же ухмылкой сказал мужчина и перевел взгляд на Искендера. Взгляд у него был тяжелый, холодный, какой-то неподвижный. Ну, точно дохлая рыба! По спине Искендера пробежали холодные мурашки.
 - Родственник?
 - Племянник.
 - Похож. Ты уж не обижайся, все вы мишоппы на одно лицо.

Уши Абабиля покраснели до самых кончиков, однако он ничего не сказал. Между тем мужчина сунул свободную руку в карман плаща, достал оттуда длинные четки из мелкого черного камня и принялся быстро перекидывать их между пальцами.

- А дерево твое все, что ли, накрылось?
- Ничего не накрылось. Стоит. Цветет и пахнет. Уши Абабиля из просто красных сделались багровыми.
- Чего ж ты тогда под землею шастаешь? Тут, брат, не твоя территория? Может, забыл?

В голосе неприятного гражданина Искендеру послышалась скрытая угроза. Он хотел поднять голову, поглядеть на него, но почему-то не мог оторвать взгляда от черных бусинок, перетекающих между его пальцами. И пальцы с желтыми ногтями, и кисти рук его были тоже необычайно длинными. Бусинки летели одна за другой свободно, плавно, будто намазанные маслом.

- В гости позвали.
- В гости...? Смотри-ка! А меня никто не зовет. Я сам прихожу. Когда хочу. Мужчина говорил, не напрягаясь, но, несмотря на вой мчащегося поезда, его было отчетливо слышно, словно он нашептывал тебе в уши. Потому что сам себе хозяин, мне какое-то паршивое растение не указ. И когда я прихожу лучше, чтобы стол был уже накрыт. Еще и на дорогу с собой соберут мне, и побольше...
- Так это чтобы ты поскорее убрался, брат! неожиданно весело воскликнул мишоппа, торчащие уши которого так потемнели и набухли, что казалось, вот-вот лопнут. По вагону от одного конца до другого метнулась скрюченная страшная тень, моргнули светильники.
- Зря зубы скалишь, Абабиль, скоро мой вторник, погуляю от души! послышался Искендеру злой шепот мужчины. От этого шепота его прямо всего передернуло, но он все не мог оторвать взгляда от летящих бусинок.
 - Гляди, как племяннику мои четки приглянулись, может, подарить...?
- А ты... зашипел в ответ мишоппа, но в этот момент в динамиках заиграла бравурная увертюра и женский голос сообщил, что они прибывают на станцию «Низами».
- Моя остановка, жалко, поговорили бы еще... сказал мужчина, начиная протискиваться к выходу. Но ничего, встретимся еще! Мовсюму передай, пусть больше орехов грызет, чтобы кошкам было что на зуб положить...

Не соображая, что делает, Искендер привстал с места и, следуя за четками, как привязанный, покорно двинулся за неприятным гражданином. Хорошо, мишоппа успел ухватить его за шиворот.

- Куда! Ума лишился?
- Фу! растерянно выдохнул Искендер. Четки...

- Никогда не гляди на четки в чужих руках, уведут за собой, и пикнуть не успеешь.
 - Кто он, Абабиль? Объясни, будь человеком...!
- Я человеком быть не могу, потому что я есть законный мишоппа. Не Вахаб какой-нибудь, мишоппа в законе, важно заявил Абабиль.
 - Он кто?

Мишоппа задумался. Тем временем двери вагона опять закрылись, поезд стал набирать скорость, в окне мелькнул ухмыляющийся череп с выцветшими глазами.

– Скажу так: если где встретишь, лучше переходи на другую сторону улицы, понял? А не получится – беги и не оглядывайся. Больше тебе знать не надо. Много будешь знать, облысеешь, как я, раньше времени...

Сделав пересадку, доехали они до конечной станции и вышли из большой стеклянной пирамиды у крепостной стены.

- Б-р-р-р...! Жуть! Сначала нужно продуть легкие как следует... Встав в сторонке от входа в метро, Абабиль принялся шумно прокашливаться и стучать себя кулаком по груди. Судя по цвету ушей, он уже не злился.
- После метро, брат, всегда так делай. Если весь подземный воздух из легких не выдавишь, он там на дне застоится, забродит, и все туберкулез!
- Да ладно, пожал плечами Искендер, миллион человек в метро ездят, и ничего.
- Правильно, ездят, но зараза эта не сразу проявляется. Со временем только! Сначала просто покашливаешь, ни о чем не догадываешься, а внутри уже такое творится, прямо туберкулезный мох в тебе растет. Когда, наконец, к доктору попадаешь поздно. Получай, брат мишоппа, первоклассный туберкулез! Сам подумай, кому под землей хорошо? Только червям и покойникам.

Через крепостные ворота вошли они в старый город.

- ...в Индии, например, покойники согласны на костер лезть, лишь бы в землю не ложиться. Ты на наших не смотри, мы в этом деле сильно отстали. Нашим обязательно урвать чего-нибудь, местечко хоть и на кладбище, а свое, собственное. Еще и оградку поставят вокруг. А индусы грязь разводить не любят.
 - Да у них там этой грязи...
- Я же говорю, спорить любишь, стал горячиться мишоппа, вначале думай, потом говори! Грязи у них много из-за обезьян и слонов! Бегают везде, гадят, где попало, провода обрывают, народ на базарах топчут, трогать их нельзя, законом запрещено. Штрафы...
 - Абабиль, оборвал его на полуслове Искендер, а дворец, он какой из себя?
- Дворец...? мишоппа оглянулся на нарисованную морду тигра на стене у входа в антикварную лавку. – Как тебе сказать, дворец как дворец. Каменный весь. Старый.
 - И там, что, колодец с молоком?
 - Тише ты! Туристов вокруг полно. Сам сейчас увидишь. Недалеко тут.
 - А молоко коровье?
- Молоко-то? Кто его знает...! Я как-то не думал даже. Но точно не коровье. Надо будет у Агоппы выяснить. Говорят, сладковатое. Может, птичье какое-нибудь... Да что ты пристал, на месте разберемся.

Петляли они по улицам старого города, следуя за рогатым месяцем, который не становился ближе, а только крутился по темному небосводу вместе с россыпью звезд напротив его заостренных рогов, еще довольно долго. Наконец, вышли они на маленькую мощеную площадь перед музейным комплексом Ширваншахов. Месяц теперь оказался аккуратно насаженным прямо на верхушку минарета. В этот час площадь была безлюдной.

– Вот и дворец! – сообщил мишоппа так, как будто сам его строил.

- Этот? воскликнул разочарованно Искендер. Это ж музей...! Я думал, настоящий дворец...
- Глупости ты говоришь, братец! Другого дворца здесь нет. Все остальные так, ненастоящие. Подделка, «маде-ин-чина», как кроссовки твои. А это оригинал. Фирменная вещь! Хоть курятником его обзови, хоть музеем, а все равно дворец. Понял?

Прав был, наверное, мишоппа: если и существует в этом городе колодец с молоком, то где ему еще быть, как не здесь. Прошли они мимо фонарей через каменный мост, подошли к резным воротам музея в массивной арке, Абабиль опасливо оглянулся по сторонам, а потом, засунув по два пальца обеих рук в рот, засвистел каким-то необычным сложным манером: вышла у него самая настоящая птичья трель. В ответ ни звука, лишь обрывками доносится издалека музыка да тихо поскрипывают старые деревья за оградой. Высвободил Абабиль даже уши из-под шапочки.

– Спит, что ли, ослиный сын?

Свистнул мишоппа еще раз. Но ответили ему только с четвертой попытки таким же заковыристым мудреным свистом, только с вопросительной интонацией. А дальше стали они пересвистываться между собой. Звучало это приблизительно так:

- Фьют-фьют-фьюти-фью?
- Фью-фью-фьити-фью-фьют-фьют...

Ну и так далее. Всего не упомнишь, да и свиста этого, кроме них, все равно никто не разбирает.

- Все, договорился! весело сообщил мишоппа, закончив пересвистываться. Сейчас откроет. Агоппа – парень душевный, но очень уж упрямый. Сам понимаешь, ишак он и есть ишак.
 - Как это ишак? недоверчиво спросил Искендер.
- Ну, ишак, обыкновенный ишак. Таким уродился. Генетика, брат. Только он водяной.
 - Водяной ишак это как? Издеваешься?

Абабиль покачал головой:

- Когда это я над тобой издевался...? Правду говорю не веришь, в спор лезешь. Как это не бывает? Очень даже бывает! Что, никогда не слышал про водяную собаку...? Или водяного льва, водяного козла? А этот водяной ишак! Что зубы скалишь? Ничего смешного, между прочим...! У каждого своя судьба. Один мишоппой рождается, другой дураком. Веди себя прилично, а то не видать нам молока. И главное, не вздумай его ишаком называть, обидится на всю жизнь. Не смейся, говорю...!
 - Водяной ишак... не унимался Искендер, во дворце живет...!
- Да кто его, ишака, во дворце жить оставит? Где такое видано? возмутился мишоппа. Его не в каждый хлев пускают. На Шихово, около рыбного ресторана он живет. Чтобы поближе к воде. Я же говорю водяной! А здесь просто сторожем работает. Это дядя его пристроил.
 - Тоже ишак...?
- Тише, услышит! Совсем ума нету... Конечно! Дядька у него ишак, и еще какой! Самый настоящий! Матерый. Таких еще поискать! Признавать никого не хочет, нос воротит. Потому, видите ли, что он ишак при должности! Целый академик! Выучился на нашу голову. Водяной, а сам даже не моется. Ага...! Это с тех пор, как собака его в Новхане на пляже покусала. Воды теперь, как огня, боится. Водобоязнь у него образовалась. Хроническая. Но, уж поверь на слово, ишак все еще тот! Тьфу! Говорить даже про него не хочу... Да где он там застрял?

Как раз в этот момент громко лязгнул металлический засов на воротах. Мишоппа шикнул на Искендера, и тот, как ни распирало его от смеха, попытался придать лицу серьезное выражение. Створка ворот слегка приоткрылась, и наружу, к разочарованию Искендера, высунулась никак не ослиная, а самая обыкновенная кудрявая голова мужчины с крупными навыкате глазами.

- С кем это ты? спросил он высоким грудным голосом.
- Все свои, Агоппа! Это племянник мой тетки Моминат внук. Прислали на воспитание. Из наших краев гостинцев привез. А я думаю, праздник, навещу-ка я Агоппу, гостинцами поделюсь, а заодно с племянником познакомлю...Вон, целый мешок притащили, показал он на рюкзак на спине Искендера. Мы хоть и не родня с тобой по крови, но из одного теста замешены. А город большой, страшный, мало ли что со мной может случиться! Нападет какая-нибудь зараза, и все, нет Абабиля, одни копыта и косточки остались. А ты и поможешь в трудную минуту. Можно советом... Хороший совет много стоит! За хороший совет и сто манатов не жалко!

Пока мишоппа говорил елейным голосом, Агоппа только слушал, часто хлопая ресницами, которые были у него необычайно пушистые, длинные, почти дамские, так что казалось, будто вместо глаз у него на лице хлопают крыльями два огромных мотылька.

– Ладно, – не слишком охотно вздохнул человек-осел, открывая шире створку ворот, – заходите, раз уж пришли. А вообще-то, Абабиль, тебя никакая зараза не возьмет, ты нас еще всех переживешь...

– Что ты, что ты, братец! Это только так кажется, весь больной насквозь!

Прошли они во двор. Агоппа, заперев ворота, повел их сразу налево между какой-то приземистой остроконечной башней и самим дворцом. И хотя кругом было много фонарей и сами здания были красиво подсвечены, Искендер немного оробел. Еще бы, видел он, конечно, все это и раньше, но на фотографиях и при солнечном свете. А ты попробуй погулять по нежилому дворцу, когда отовсюду из-за витых решеток на тебя глядят темные стрельчатые окна, когда в каждой каменной завитушке, в каждом углу и за каждым поворотом в узком дворике, словно мухи, роятся таинственные тени, а в руинах овдана недобро ухает сова (уж не та ли самая, что так напугала славного Гюльхоша Мамедовича?). Молодой месяц, который за стенами дворца выглядел веселой запятой над городскими крышами, здесь, насаженный на острие минарета, висит огромным светящимся серпом. И так близко, что кажется, приставь пожарную лестницу, и можно уцепиться за один из его рогов.

- Ты уж извини, что в бане принимаю, гостей никак не ожидал. Обернулся водяной ишак к Абабилю. Сегодня сам знаешь, какой день, поближе к воде нужно быть.
- Да что ты, дорогой! В самый раз...! Не обращай внимания, занимайся своими делами, мы ненадолго, только гостинцы передать и домой.

Обращаясь к Агоппе, мишоппа почему-то все время лебезил, заглядывал льстиво ему в глаза и поддакивал, хотя человек-осел совсем не выглядел ни опасным, ни даже надменным. Правда, говорил он с Абабилем, пожалуй, излишне суховато, без сердечности, но и только. Правда и то, что Агоппа действительно чем-то напоминал осла. По крайней мере, походка у него была точно ослиная. Да и одет он был очень уж странно для сторожа в музее: были на нем обтягивающие брюки с отливом, из которых вовсю выпирал его огромный, прямо-таки ослиный зад, а поверх желтой водолазки на узкие плечи был накинут велюровый пиджак с крупной брошью на лацкане.

- Наверное, скучно одному тут сидеть? Все, кому ни лень, празднуют, а ты один-одинешенек среди этих дурацких камней...
 - Чего мне скучать? Телефон есть, слушаю модную музыку.
- Конечно! Конечно! Музыка сейчас очень хорошая стала, не то, что раньше! А ты сам как же? Не записал ничего новенького? Такой у него голос...! пихнул мишоппа локтем Искендера. Соловьи от стыда дохнут!
- Скажешь тоже! опять обернувшись к мишоппе, жеманно хлопнул Агоппа пушистыми ресницами. Обычный голос.
- Не наговаривай на себя, дорогой! Я привык правду говорить: ты же великий талант, чего тут скромничать...!

Даже в темноте стало видно, как гладкие щеки человека-осла зарделись от удовольствия.

Прошли они, между тем, через резной портал, поднялись на несколько ступеней вверх на залитую лунным светом площадку, откуда показались руины ханской бани. О том, что баня была ханская, Искендер, конечно, не знал, да и на баню это не очень походило: полуразрушенные, словно обгрызанные стены, темные ниши без дверей, остатки плоской крыши в одном углу. На площадке стоят пляжный шезлонг с перекинутым через него махровым полотенцем и большой красный таз с водой.

- Ты уж извини, стульев у меня нет, сказал Агоппа, присаживаясь в шезлонг. Протестуя, Абабиль замахал руками:
- Что ты, что ты, дорогой! Мы привычные, так, на корточках посидим! вообще-то усаживаться на единственный стул, когда принимаешь гостей, пусть даже и незваных, показалось Искендеру крайней невоспитанностью, а с другой стороны чего еще ожидать от ишака, пусть и водяного! Водяной или сухопутный ишак есть ишак. Стал он оглядываться, где бы примоститься. Сидеть на корточках, раскорячившись, как какая-нибудь птица на ветке, Искендер не любил. Однако устав таскаться с тяжелым рюкзаком на плечах, теперь был рад хотя бы такой передышке.

Агоппа аккуратно снял белые туфли с пряжкой. Под ними оказались такие же желтые, как его водолазка, носки, которые он тоже стянул, после чего с видимым наслаждением опустил короткие, похожие на копыта ноги в таз, от которого поднимался горячий пар.

– Можете тоже попариться, приглашаю! – как у всех жвачных, передние резцы у Агоппы были мощные. – Знаешь, что у меня тут? Омолаживающий коктейль: свежие водоросли, розовая вода, кардамон, щепотка корицы, утиное яйцо для связок и молодой камыш с гидростанции...

Загибал он пухлые пальцы.

- ...в интернете говорят, через ноги лучше всего усваивается. Очищает печень, волосы делает шелковистыми...
- Ax, ax, ax! воскликнул мишоппа. Какая красота! Жалко, что я ноги сегодня уже и мыл, и парил по-всякому! Если бы знал заранее...
- Как хотите, поелозил копытами в тазу Агоппа. Мне больше достанется. А что за подарки? Ты же знаешь, как я люблю подарки!

Мишоппа подвинул к себе рюкзак, выложил из него две связки чеснока, при виде которых Агоппа удивленно вскинул бровь, а следом достал туго набитый холшовый мешочек.

– Вот! – сказал он, протягивая его водяному ишаку. – За столько километров везли! Только понюхай...! До конца жизни благодарить будешь!

Распустив узел мешка, Агоппа принюхался и восхищенно поцокал языком:

- Ох...! Прямо медом пахнет! Правду говоришь, только в наших краях такое найдешь!
- И без всякой химии! На чистом говне...С правого берега, между прочим. Хотели с левого подсунуть, но я им сразу сказал: для моего друга только лучшее!
- C правого? мечтательно протянул Агоппа, закатывая глаза. Ax, Абабиль, знаешь ты, чем согреть одинокую душу!
- Знаю, дорогой друг! кивнул мишоппа, но глаза у него при этом, как заметил Искендер в косом свете фонаря, были донельзя хитрые и довольные. Что же это такого, спрашивается, впарил он ишаку, что тот на глазах прямо разомлел от удовольствия? С правого берега чего...?
- Мы с тобой одной веревкой повязаны, брат Агоппа, из одной реки воду для самовара набирали. А как здоровье твое? Ничего не беспокоит? в голосе Абабиля неожиданно зазвучали тревожные нотки. Человек-осел погрустнел. Взмахнув пушистыми ресницами, глубоко вздохнул и потупился.

- Ешь, надеюсь, хорошо?
- Ем хорошо, опять невесело вздохнул Агоппа.
- Сон как?
- Сплю крепко.
- Может, подозрительно прищурился мишоппа, думаешь много? Ты не стесняйся, говори, как есть! Меня твое здоровье, брат, очень беспокоит!
- Да что ты, Абабиль, не думаю я совсем! почти испуганно воскликнул осел. Чего мне зря думать! От мыслей, говорят, морщины появляются.
- Вот и правильно, брат. От мыслей не только морщины, но и понос случиться может. Он задумчиво почесал лоб. Ты пойми, я ведь не просто спрашиваю. Не из глупого любопытства, ты же знаешь, как я к тебе отношусь! Просто тут слух прошел...
 - Какой? не поднимая глаз, с придыханием спросил Агоппа.
- Какой...? Неужели правда? Ай, ай...! вдруг вскочил с места мишоппа и завертелся юлой. Лучше бы я не слышал этого...! Лучше бы я в детстве умер! Беда! Беда! Такой голос посадил...! Неужели совсем...?
- Да нет, сейчас уже лучше, только верхняя октава западает, и когда исполняю бельканто...

Не дослушав, мишоппа так треснул себя по лысине, что по руинам ханской бани пробежало звучное эхо.

- Лучше бы я сам голос навсегда потерял...! Онемел до конца жизни... Лучше бы я всех пальцев лишился, чем такое услышать...! Как же это?! Я все надеялся, что врут завистники проклятые... Думал, болтовня, наши соврут недорого возьмут! А вот, оказывается, правда! Бельканто испортили! Абабиль швырнул шапочку себе под ноги. Сглазили, мерзавцы! Точно сглазили, гады!
 - Жена дяди то же самое говорит.
- Правильно говорит! Близкие люди сердцем чувствуют. Сглазили тебя, дорогой мой Агоппа, сил смотреть нет! Ты даже как будто с лица спал. Вот ведь народ подлый! Ну, еще бы такой красавец! Все при тебе! Такой талант! Они, небось, ядом изошли. Да на тебя, когда первый клип, наконец, снимешь, весь город молиться будет! Все свадьбы твои будут. Ах, какое горе... Абабиль зачерпнул со ступенек горсть палых листьев вперемешку с мусором и немедленно посыпал этим голову.
- Да не убивайся ты так, Абабиль, мне уже лучше. Я же говорю, только верхняя октава пока не дается, и бельканто...
- Сглаз надо снять! Сглаз! Не соображаешь? Если его не снять, будет только хуже! Погубишь себя...
- Да я вот уже... Агоппа откинул ворот куртки и показал торчащую из внутреннего кармана синюю веточку могильника. Колючка... и соль все время в кармане ношу... Думал, подковы набить, но в них в метро неудобно, цокают очень...
- Мало! Какие, на фиг, подковы! Дедовские методы. Пользы от них на два маната.
 - ...еще горло фурацилином полоскаю...утренней мочой брызгаюсь...
- Мало! Мало! Даже если стаканам ее хлебать будешь, не поможет! Неужели не понимаешь? Глаз особо ядовитый, в самое нежное твое место попал, в октавы! Не хотят, понимаешь, они, чтобы ты нас песнями радовал! Бельканто выделывал. Талант им твой спать не дает. Я тебе всю правду скажу, Агоппа, можешь обижаться потом, сколько хочешь: тебе на «Евровидение» ехать надо. Чтобы тебя весь мир узнал. Представляешь, выходишь ты на сцену в «Кристалл Холле» в серебристом наряде... Ой, мамочки, прямо дух захватывает! А мерзавцы эти от зависти лопаются...! Времени до конкурса мало осталось, надо побыстрее бельканто твое починить. Тут, брат, только одно средство и поможет, сам знаешь, не хуже меня. Мишоппа выдержал драматическую паузу
 - Какое? проблеял человек-осел, вытянув бантиком пухлые губы.

– ...молоко из колодца!

Агоппа ошарашенно вылупился на Абабиля:

- Что ты говоришь? Туда уже сто лет никто не лазил!
- Ну и что? А если бы и полезли? Чего нашли бы? Грязь и мусор! Потому и не лезут, что знают. В обычный день, конечно, там делать нечего. А сегодня какой? Спрашивается, когда еще такая возможность будет...? Сам решай, мне-то что? Но говорю тебе, пока будешь горло фурацилином полоскать, на «Евровидение» вместо тебя опять какую-нибудь финтифлюшку пошлют!

От этих слов Агоппа часто задышал, раздувая по-лошадиному ноздри, и принялся беспокойно ерзать задом в шезлонге.

- Ну, как же туда лезть! заламывая руки, воскликнул он. Это же какой ужас! Это же просто сердце на куски разорвется! Нет, нет, невозможно это...! Не смогу...! Да и не пролезу я, Абабиль! Посмотри на меня! Я еще тут немного по бокам прибавил... все из-за стресса этого... ткнул Агоппа пальцами в жирные бедра, а потом вскочил с места и, расплескивая воду с водорослями, затопал ногами в тазу: Нет, нет! Даже не уговаривай! отчаянно взревел он на всю ханскую баню. Не полезу я туда! Ни за что! Больше ты меня не обманешь, Абабиль! Больше я тебе никогда не поверю! Ищи другого дурака! Все...!
- Да что ты, дорогой? Когда это я тебя обманывал? невозмутимо развел руками мишоппа. Нехорошо, братец, наговаривать на бедного мишоппу.
- Всю жизнь только и делаешь, что обманываешь! продолжал реветь в голос Агоппа. Думаешь, я забыл? Кто меня в зоопарк хотел продать? Не ты?
- Ну, это ты совсем зря! Во-первых, не в зоопарк, а в престижный аквапарк в Новхане. Туда, между прочим, не всякого пускают. Во-вторых, что значит «продать»? Серьезные люди к тебе со всем уважением, хотели долгосрочный контракт предложить. Ты же артист, в конце концов! Трудно тебе было русалкой побыть? Данные у тебя подходящие, вода дом родной. Подумаешь, поплавал бы в аквариуме с рыбами за стеклом... Такой красивый купальник пошили, синий, блестящий, с чешуей. Тебе же самому понравилось.
- Да? взвизгнул Агоппа. Вранье! Никакой это был не контракт, ты им наврал, что я Ихтиандр! Я все знаю, Абабиль. Они бы там меня вечно держали.
 - Ну, не преувеличивай, Агоппа!
 - А Набрань?
 - Совсем другая история...
- Какая история? Какая история...обещал спасателем в эмчээс устроить, деньги взял, а вместо этого заставил лодку с туристами тянуть, всю спину исцарапал! Сколько ты тогда билетов продал? Ни маната я из тех денег не увидел! Я чуть не умер тогда... расстроенный Агоппа плюхнулся обратно в шезлонг и стал тереть покрасневший нос. Из его больших глаз катились крупные слезы. Искендеру даже стало жалко человека-осла: вот что бывает, когда свяжешься с мишоппой!
- Правильно тетя говорит, всхлипнул Агоппа, отвернувшись, мишоппам ни в чем доверять нельзя.
- Эх, не был бы ты таким великим талантом, Агоппа, обиделся бы на тебя насмерть. Ты, дорогой, успокойся и послушай, что я говорю, древесный человек дурного не посоветует: тут все чисто, если я в чем-то перед тобой и виноват искуплю, сам увидишь! Тебе молока из колодца добудем, будут твои октавы как новенькие! Слово мишоппы! Абабиль ударил себя кулаком в грудь. И лезть тебе никуда не надо. Смешно даже, с такой... выдающейся комплекцией ты там точно не пролезешь. Я потом себе никогда не прощу. А племянник зачем? Искендер? Этот любую стену башкой прошибет! Она у него деревянная, как у тети Моминат. И ничего не боится, юркий, как сопля...

Человек-осел, продолжая горько всхлипывать, косо посмотрел на Искендера.

- Поднимись, поднимись, покажи Агоппе, какой ты спортсмен! Расправь плечи! Искендер нехотя поднялся. Красавец! Не смотри, что щупленький пояс по каратэ, у него медалей больше, чем у меня на штанах пуговиц!
 - Прямо не знаю я. Ты прямо провокатор какой-то. А жабы он не боится?
- Не жаба это. Скорее уж, змея. Во всяком случае, я так слышал. Ну и что она ему сделает? Она против него тьфу! подмигнул он Искендеру, которому, к слову сказать, в этот момент стало страшновато. Что еще этот мишоппа придумал? Какая змея? Сказано же было, просто набрать молока из колодца, а выходит так, что в колодец еще и лезть придется? Неужели одному? По спине холодные мурашки побежали, захотелось ему поскорее из этих пугающих руин на свет выбраться, туда, где люди, машины, домой, к телевизору, но, как только подумал он о доме, вспомнил, зачем с мишоппой связался. Тут уж обратной дороги нет.
- Нечего раздумывать, вставай, друг Агоппа, вставай! Будь хозяином своей судьбы, такая возможность подвернулась. Пойдем и все по-быстрому закончим, Вторник-то не резиновый, скоро поздно станет.
- Ой, не нравится мне все это! трагично вздохнул человек-осел. Страх такой...
 - Будь мужчиной! хитро подмигнул ему мишоппа.

...Двинулись они обратно той же дорогой, что и пришли, но от ханской мечети повернули налево ко дворцу, обошли его и оказались у Диван-хана́. На всякий случай, если кто не знает, как, например, Искендер: Диван-хана́ — это такая красивая ротонда с колоннами. Стоит она посередине мощеного двора, окруженного со всех сторон стенами. Сходите сами, посмотрите.

Шли они молча, и даже обычно говорливый мишоппа не сказал ни слова. Только человек-осел вздыхал время от времени и свистел носом, да еще где-то рядом опять напомнила о себе сова из микрорайона (а может, и другая какая-нибудь, дворцовая, например, может, ее специально там держат, чтобы туристам нагляднее было, что перед ними самые настоящие руины), отчего противные мурашки, ползущие по спине Искендера, сделались злее и колючее. Впрочем, страшно было, наверное, не только ему одному. За колоннами Диван-хана закрытые двери, а вокруг свободно гуляют сырые сквозняки. Поди знай, кто там за этими дверьми по ночам из склепа выбирается!

Но в ротонду они не пошли, а встали полукругом у железной решетки прямо в мощеном полу дворика. Решетка была какой-то неправильной формы и, если приглядеться, напоминала угловатый силуэт лошадиной головы с куском шеи. А может, ослиной. Агоппа, зябко обнимая сам себя за плечи, поднял на Искендера свои крупные, опушенные ресницами глаза и сказал неожиданно очень серьезно, на этот раз без всякого жеманства:

- Если боишься, лучше не лезь.
- Чего там бояться... неуверенно запротестовал было мишоппа, но тут же осекся и вслед за Агоппой уставился вопросительно на Искендера.

Что ему надо было ответить? Что при одной только мысли о темном древнем колодце у него от страха подкашиваются ноги? Что ни за какие блага на свете он не хочет лезть туда? И что потом? Вернуться домой с пустыми руками? Беспомощно ждать, пока заклятье гадалки сделает свое черное дело...? От волнения на глазах Искендера даже выступили слезы. Незаметные (надеюсь). Ну, может, это от волнения или от этих сырых сквозняков во дворе Диван-хана. Наконец, он прошептал почти уверенно:

- Не боюсь.
- И правильно! воскликнул Абабиль с облегчением, хлопая его по плечу. Нечего там бояться, братец! Просто старый вонючий колодец. Дырка в земле. Давай, Агоппа, тащи свои крючки...!

Водяной ишак вздохнул и куда-то ушел, виляя задом в блестящих штанах, а мишоппа стащил со спины Искендера рюкзак, стал помогать ему снять куртку.

– Слушай внимательно, запоминай: дело ерундовое, но делать все надо быстро и точно по инструкции. Как спустишься вниз, осмотрись. Там ничего хорошего, конечно, нет, но в принципе должно быть сухо. А это лучше, чем со всякой слизью возиться. Весь прикол, что колодец этот высох давно. Даже те, кто в музее работает, точно не скажут, когда. Жила молочная взяла и истощилась, вот он сто лет и стоит, никому не нужный. Я тебе дам фонарик. Походи, отдышись, потом найдешь в стене камень: он там один такой, круглый. Из кладки торчит, как пробка из бутылки. Не пропустишь. Все остальные крупные, кривые и косые, а этот размером с яблоко и круглый. А под ним, между полом и стеной, будет трещина, солидная такая, мишоппа Гюльмяшякяр говорил, что пальца в два толщиной. Значит, твоих три будет. У Гюльмяшякяра каждый палец, как огурец. Вот, значит, рядом с этой трещиной положишь...

Мишоппа полез в рюкзак, долго возился и, вытащив оттуда литровую банку, показал ее Искендеру. В темноте было похоже на то, что банка доверху набита какимито сухими веточками.

– А что это?

Выставив руку, Абабиль тряхнул банку, веточки внутри тотчас ожили, пришли в хаотическое движение и замерцали зелеными огоньками.

- Светляки с Карагача. Просто крышку откроешь и отойдешь в сторону... Нашел...? обернулся он на звуки шагов Агоппы. Человек-осел молча подошел к ним и положил рядом с рюкзаком два железных крюка с деревянными ручками. Мишоппа удовлетворенно кивнул и снова повернулся к Искендеру: Запомнил? Крышку открыл, а сам подальше встань.
- Змея из трещины вылезет! Гадость такая, брр...! передернул плечами Агоппа, в свете луны сверкнули красные камушки в красивой броши на лацкане его пиджака.
- Да что ты заладил «змея, змея», не змея эта совсем! отмахнулся от него мишоппа. А фиг его знает, что! Одни говорят, ящерица, Гюльмяшякяр говорил жаба с хвостом. Короче, гадость. Но маленькая совсем. Сам подумай, трещина-то всего в два пальца толщиной! Что там может поместиться? А змеей называют, потому что хвост у нее длинный, вроде змеиный.
 - Метр! вставил Агоппа.

Абабиль недовольно покачал головой:

- Гюльмяшякяр сказал, на глаз меньше аршина. А аршин это у нас сколько? 70 сантиметров. Все понятно? Да и какая разница-то, просто ящерица с длинным хвостом, все дела! Ты, главное, ее не бойся. Она больше противная, чем опасная. Даже если шипеть будет, не ядовитая. Не бойся ее. Она ведь так, для страху поставлена. Чтобы всякие не лезли. Сидит на молочной жиле, не дает молоку в колодец натечь. Сама все высасывает и сметаной гадит. И молока-то смех один! Жила старая, считай, высохла. За тысячу лет все выкачали, халявщики! Ведрами и тазами черпали, пока не истощили совсем! Теперь только капает немного...
 - Сегодня побольше должно быть. Водяной Вторник же... добавил важно Агоппа.
- Да нам сколько-нибудь набрать. Я же рассказываю, последним здесь Гюльмяшякяр лазил, до того, как за Аракс на ярмарку ушел и сгинул. При нем по колено только и натекло. Так это сто лет назад было! Сейчас, думаю, даже меньше будет. Только кроссовки свои и намочишь. В общем, пока жаба будет за светляками гоняться, ты молоко набирай. Светляки с Карагача для них, как для нас долма. Лакомство. За целый век поди изголодалась, зараза...! Не торопись, набирай себе, когда струя чистая пойдет... Ну, брат, надевай рюкзак. Там, значит, у тебя банка со светлячками и бутылка из-под тархуна с крышкой в нее и наберешь. Фонарь в руках держи... Да не урони! Как закончишь, крикни, мы тебя вытащим. Я же говорил: дело простое, из банкомата пенсию забрать, и то больше ума надо.

- А веревку ты принес? заволновался Агоппа.
- A как же! усмехнулся Абабиль. Кто же теперь в гости без хорошей веревки ходит?

Подцепив решетку с двух сторон крючками, мишоппа и человек-осел не без труда приподняли и сдвинули ее в сторону. Из открывшегося в каменных плитах черного провала потянуло запахом сырости. В круглом свете фонаря увидел Искендер полустертые от времени ступени, которые уходили полукругом вниз и дальше терялись в непроницаемой темноте. Без куртки его стало знобить. Подойдя к провалу, Агоппа присел на корточки и замер на секунду, оттопырив уши ладонями.

- Ага! сказал он, наконец. Приливает, кажется.
- Что? шепотом спросил Искендер
- Молоко приливает, объяснил мишоппа. Жила подземная набухла. Значит, не зря пришли.

Первым спустился Абабиль. Выхватывая фонариком из темноты куски каменной кладки, быстро исчез он где-то в полумраке, из-под земли послышалось его приглушенное чертыханье. Следом пошел Искендер с рюкзаком на спине. Идти уже было не так страшно — провал тускло светился, доносилась возня Абабиля. Нащупав ногой верхнюю ступень, присыпанную пылью и каменной крошкой, стал он осторожно спускаться, и вскоре оказался в небольшой сводчатой комнатке, в конце которой его уже ждал улыбающийся мишоппа.

- Хорошо, хоть не воняет! А то я все боялся, что будет, как у Афлатуна дома. Чего же, спрашивается, тогда он, сукин сын, так воняет...?
- Ой, мамочки, не говори здесь про хортданов! послышался за спиной дрожащий голос Агоппы. У меня от страха прямо копчик ныть начинает!
- За мной! скомандовал мишоппа и полез дальше еще в какую-то дыру в самом конце комнаты. В этой дыре тоже были ступени, и вели они в следующую подземную камеру, гораздо меньше первой и с еще более низкими сводами, так что рослому Агоппе пришлось нагибаться. Здесь и находился молочный колодец.

Искендер протиснулся мимо мишоппы к синей металлической решетке, окружающей вход в колодец, заглянул в него: свет фонарика высветил лишь верхнюю часть, а дальше безнадежно тонул в непроницаемой черноте, которая словно дышала ему в лицо гнилостной влагой. И на мгновенье ему и вправду показалось, что это не колодец вовсе, а раскрытая пасть земли с кривыми каменными зубами, готовая вот-вот заглотить его. Продолжая мелко дрожать, он невольно отступил на шаг назад. И тут мишоппа положил ему руку на плечо:

- Помнишь, зачем мы сюда пришли? Другого шанса не будет, братец...
- Помню, шепотом ответил Искендер. Может, и не шепотом, но в этом подземном мешке все звуки почти мгновенно угасали, и было только явственно слышно жуткое дыхание колодца.
- Абабиль, Абабиль...не надо... заверещал Агоппа. Плевать на это молоко, умоляю тебя, я фурацилином полечусь, все пройдет!

Мишоппа строго посмотрел на него:

– Нет, друг мой, если мишоппа слово дал – обратной дороги нет. Добудем тебе лекарство. Лучше помогай давай...!

Сказал и скинул с плеча большой моток веревки.

А дальше? Обвязали они Искендера по пояс, затянули покрепче узлами, похлопал его мишоппа по плечу, а Агоппа, хлопая намокшими от слез ресницами, еще и обнял, и полез Искендер через решетку прямо в земляную пасть, стараясь ни о чем не думать, только об инструкциях мишоппы. И правильно, между прочим, сделал, если в такой момент много рассуждать, страх только сильнее станет, и не то, что в древний колодец лезть, из комнаты в коридор не выйдешь.

– Подожди, подожди...! – бросился к нему в последний момент человек-осел.

Снял он с лацкана брошь и приколол ее к свитеру Искендера. – Это на удачу, потом вернешь...

Это, конечно, было чересчур, но, когда отправляешься в колодец воевать со змеей, удачи много не бывает.

Посветил Искендер вниз, перекинул ногу через край решетки и повис на веревке над черной бездной.

...Сантиметр за сантиметром начал опускаться Искендер вдоль замшелых стен. Иногда только поднимал он голову поглядеть над собой на раскрасневшиеся лица Абабиля и Агоппы, которые медленно, с кряхтением, травили веревку, а потом опять смотрел вниз, как свет фонарика под его кроссовками расслаивает плотный мрак. Было страшно до тошноты. Все казалось ему, вот-вот что-то выскочит навстречу, чтото жуткое, невообразимое, и сердце просто лопнет в груди. Но шли минуты, лица Абабиля и Агоппы становились все дальше, все натужнее скрипела покачивающаяся веревка, а темнота лишь монотонно расходилась у него под ногами. Сколько же метров в этом проклятом колодце? Чем дальше вниз, тем сильнее его гнилостное дыхание.

Искендеру казалось, что спускается он целую вечность. Несколько часов, а может, дней, сколько именно длилась эта вечность, определить было невозможно. Ведь как ни крути, а время в каждом приличном колодце должно течь как-то иначе, тем более в таком глубоком...

...и только когда лица наверху стали уже совсем неразличимы, а светящийся выход из колодца сузился до размера монеты, свет фонаря выгрыз, наконец, из мрака дно!

Как и предупредил мишоппа, внизу оказалось почти сухо. Только по углам кладка под белеющими наростами плесени была заметно влажная.

Как только Искендер коснулся ногами пола, он задрал голову и крикнул, словно в трубу:

- На месте! звуки его голоса, отскакивая от стен, как теннисные мячики, по спирали унеслись вверх. Но, по мере того, как поднимались они выше, они постепенно теряли свою упругость и силу. То, что услышали Абабиль и Агоппа, был лишь искаженный шепот из темноты, будто с ними говорил не Искендер, а сам колодец. И также шепотом до него донеслись их ответные слова (кто именно говорил, было невозможно определить):
 - ...живой...здоровый...?
 - Да! ответил он из глубины этого каменного мешка.

Здесь не хватало воздуха, а тот, что был, пах гнилостно и был ужасно густым, так что Искендеру приходилось дышать открытым ртом. Агоппа и Абабиль продолжали травить веревку у него за спиной, и она ложилась на дно колодца широкими кольцами. Теперь это была его единственная связь с миром, не самая надежная, надо сказать, особенно если видишь, как она исчезает над головой во мраке. Он осторожно сделал первый шаг, стараясь ступать как можно осторожнее. В свете фонаря хаотично кружилась пыль, похожая то ли на рой насекомых, то ли на взвесь, какую можно увидеть, когда, нырнув под воду, открываешь глаза, да и вообще было ощущение, что ходит он по дну моря.

— ...веревки достаточно? – шепнули ему опять сверху.

Искендер дошел до стены – веревка свободно тянулась за ним, давая возможность беспрепятственно перемещаться по всему периметру колодца.

- Нормально!
- ...ищи круглый камень... пробка...как пробка...

Помня о том, что круглый камень должен торчать из стены где-то ближе ко дну колодца, Искендер наклонился и стал двигаться по кругу, и вскоре действительно наткнулся на почти круглый камень, заметно выступавший из замшелой кладки.

С волнением перевел он свет фонаря вниз и увидел ту самую трещину между стеной и полом. Была это даже не трещина, а просто не заполненный ничем разрыв в кладке. Ладони Искендера вспотели от волнения. Здесь на глубине было невыносимо душно.

...трещину...ищи трещину...под круглым камнем... – шептала ему темнота сверху.

– Нашел!

Стараясь не подходить слишком близко, он стащил со спины рюкзак, трясущимися руками достал из нее банку и точно, как Абабиль, тряхнул ее. Ожившие насекомые замерцали яркими огоньками, стали возмущенно тыкаться в стеклянные стенки. Он снял крышку и, быстро положив банку набок перед трещиной, бросился к противоположной стене, не выпуская из вида дыру в дымчатом свете фонаря. Треща крыльями, насекомые рванулись наружу, вылетая по одному и кучками, и вскоре колодец расцветился всеми оттенками зеленого: от светло-изумрудного, почти желтого, до темного – цвета листьев фикуса. Выглядело все это красиво, и в других обстоятельствах Искендер, наверное, глазел бы на все это с открытым ртом, но вместо этого он не спускал глаз с темной трещины. Прошло несколько мгновений, а может, минута. Или пять: не забывайте, время в колодце не измеряется часами. Может, ударами сердца в груди, количеством вдохов или назойливым стрекотанием крыльев. Как показалось ему, в трешине что-то промелькнуло и тут же исчезло. Что именно, он не успел рассмотреть, но весь напрягся, отступил назад еще, пока не уперся спиной в стену, и тут в черном разрыве отчетливо показался золотистый змеиный глаз в обрамлении молочно-белых чешуек. Глаз был выпуклый, будто стеклянный. Он обвел колодец неподвижным взглядом и снова исчез, а из трещины наружу пружиной выскочил тонкий, раздвоенный на конце язычок, напоминающий собой цепкие усики Карагача, и на лету выхватил из роя светящихся насекомых одного, подлетевшего к своему несчастью слишком близко. Светляки перепуганно сбились в плотную кучу, стали кружить вдоль стен, пронеслись, мигая зелеными огоньками мимо Искендера, а ящерица тем временем уже выползла из своего убежища.

— ...гадина...? — шепнул колодец. — ...вылезла...гадина? ...молоко прибывает...? (Скорее, уж все-таки ящерица, чем жаба. Хоть точно определить сложно. Голова торчит на тонкой шее, как у ящерицы, а пузико жабье. Ну, будем считать для удобства, что это была ящерица). Размером она оказалась, может, чуть больше башмака, вся в белесых чешуйках — от заостренной морды до когтистых лапок, лишь на шее у нее была золотистая полоска, да еще острые гребни в два ряда на спине, подкрашенные в тот же золотистый цвет. Зато хвост у нее и вправду был предлинный! Подумайте сами: гадина уже выползла на середину колодца и, щелкая челюстями, выхватывала языком проносящихся мимо светлячков, а гребенчатый хвост ее чуть ли не наполовину все еще был в трещине. И только когда, бросившись преследовать жужжащий рой, она стала метаться по дну колодца, хвост ее окончательно выполз наружу.

- ...молоко...?
- Пока нет! Не вижу...!

Странное дело, но увлеченное охотой мерзкое земноводное как будто вовсе не замечало его присутствия, словно его и не было в колодце. Однако, на всякий случай, Искендер все время перебегал от стены к стене, не давая ей подобраться близко.

Рой светлячков постепенно таял, а молока все не было: каменный пол оставался сухим. И вот когда его уже стала охватывать паника, он вдруг заметил, что кладка вокруг трещины как будто потемнела от влаги. Улучив возможность, Искендер присел рядом с ней на одно колено и направил на нее свет — так и есть! — между камнями проступала жидкость, которая, медленно набухая в молочно-белые капли, скатывалась по неровностям вниз.

– Молоко! – заорал он.

- ...молоко...! ответил ему шепотом колодец. И тут за его стенами, в невидимых пустотах земли что-то глухо забурлило, зарокотало, словно прорвало плотину, и через мгновенье из трещины, брызгая во все стороны, хлынуло густое молоко! Подхватив и закружив пустую банку, оно растеклось по всему полу, не успел он опомниться, а ноги его уже совершенно промокли, пропала из вида ящерица-жаба, и только остатки светящегося роя продолжали сиротливо кружить вдоль колодца, роняя зеленые отблески на бурлящее молочное озеро. Выхватил Искендер из рюкзака пластиковую бутылку, погрузил ее целиком в жидкость. Конечно, было страшно! Что, если гадина вцепится ему в пальцы, но он продолжал удерживать бутылку в молоке, пока она не заполнилась под завязку.
 - Тащите...! Абабиль...! Тащите! орал он, дергая веревку.
 - ...набрал...?
 - Все...! Набрал!

Веревка у него в руках чуть дернулась, пришла в движение и вскоре, выдергивая из молока набухшие кольца, поползла вверх.

А молоко все прибывало и прибывало. И уже плескалось выше колен. И тут у стены вынырнула угловатая морда гадины. Выстрелив языком, она выхватила сразу нескольких светлячков и, выгибая гребенчатую спину, снова нырнула в пенящееся озеро. Что-то с ней было не так! У Искендера бешено заколотилось сердце. Что...? Он не сразу сообразил, и только когда она снова показалась, с ужасом понял: чешуйчатая тварь заметно подросла! Если до этого вся она была чуть больше его башмака плюс хвост, теперь одна ее оскаленная морда с частыми, как у пилы, зубами, стала как минимум в два раза больше! Держа над поверхностью голову, доедая еще оставшихся насекомых, она уверенно нарезала широкие круги вдоль стен, и кончик ее хвоста, следуя за ней, теперь выныривал едва не у самого ее носа.

...Когда веревка, наконец, тяжело потащила его вверх, молоко стояло ему уже почти по пояс. Вцепившись в нее, он поджал ноги, продолжая светить фонариком на щелкающую челюстями гадину. Они тащат его слишком медленно! И слишком быстро прибывает молоко! Сверкая мокрой чешуей, рептилия гребет когтистыми лапами, один за другим гаснут в ее пасти последние зеленые огоньки. Вскоре он останется с ней один на один, несмотря на то, что лица Абабиля и Агоппы наверху становятся ближе, уже и голоса их доносятся различимо сквозь толщу колодезного мрака.

- Откуда столько...? кричит мишоппа. Что ты там включил такое...?
- Ай, мама! верещит Агоппа.

Эти двое тянут его изо всех сил, прямо за ушами трещит! Тяжело дышат, кряхтят, скрипит натужно веревка, как бы не оборвалась! Под кроссовками Искендера кружится, пенясь, молоко.

– Тащите...! Тащите...! – кричит он истошно.

Слизав всех насекомых до единого, еще больше подросшая рептилия нацелила на него свои желтые глаза! То и дело щелкает она пастью прямо рядом с его поджатыми ногами.

Но вот уже показался край колодца! Осталось совсем немного. Агоппа с Абабилем поднажали разом, рывок за рывком вытягивают его прочь, расстояние между его кроссовками и все прибывающим молоком начинает быстро увеличиваться, и ящерица в неровном свете фонарика с урчанием погружается в глубину, хлопая на прощание остроконечными гребнями. Человек-осел перевешивается через край колодца, протягивает Искендеру руку.

– Хватайся, дорогой!

И в этот самый момент молочное озеро под Искендером вдруг вспучилось, заклокотало, и из него, выплескивая фонтаны тяжелых брызг, выплыла широко открытая оскаленная пасть рептилии. Прежде чем зажмуриться, он еще успел

разглядеть провал в ее мокрую глотку с жадно раздувающимися по бокам жабрами, ее ребристое небо, увидел, как ее раздвоенный язык змеей обвивается вокруг его ноги...но тут спасительная рука, ухватив за шиворот, одним мощным усилием вырвала его из пасти отвратительной гадины! Язык рептилии соскользнул с его ноги, чуть не утащив за собой кроссовку (нет, что бы ни говорил Абабиль, но, если приходится иметь дело с древними колодезными монстрами, обувь со шнуровкой все-таки надежнее!). Весь мокрый Искендер повалился на упавшего на спину Агоппу, который продолжал держать его за шиворот, а жаба-змея, сверкая чешуей и гребнями, вырвавшись на мгновенье из колодца, уткнулась оскаленной мордой в сводчатый потолок и рухнула обратно, выплеснув на пол комнатки потоки молока.

Пока Абабиль, Искендер и Агоппа, спотыкаясь и мешая друг другу, выбирались по лестнице наверх, где-то под землей опять что-то пришло в движение. Раздался оглушительный хлопок, так что со стен полетели пыль и каменная крошка, и молочная пена, уже почти достигшая краев колодца, закручиваясь в воронку, начала стремительно уходить вниз...

Во дворике Диван-хана́ их опять поприветствовал молодой месяц на шпиле минарета в окружении весенних звезд. Какое же это было счастье выбраться из-под земли на обжигающий холодом, но такой бодрящий воздух! Честное слово, после всего пережитого даже уханье совы в развалинах кажется соловьиной трелью! Быстро задраив вход в подземелье решеткой, они молча развалились прямо на мощеном полу отдышаться. Промокший Искендер натянул на себя куртку.

- Да-а-а-а! задумчиво сказал, наконец, Абабиль. Как с того света вернулись.
- Чего же ты говорил, что молока будет только по колено? ткнул его в бок Искендер.
 - Кто же знал! Последним там Гюльмяшякяр был сто лет назад...
 - Да иди ты со своим Гюльмяшякяром...! огрызнулся Искендер.
- Столько молока, фирму можно было бы открыть, цистернами продавать! Слышь, Агоппа, а ты молодец, вовремя его вытащил, я уж думал, все, сожрет гадина...
- Мишоппам ни в чем доверия нет! Только и знаете, обманывать и чужое белье тащить! взвизгнул человек-осел. Только посмотри, что с моим пиджаком сделали! Это же итальянский! Как я его теперь отмою? А брюки? Ай-ай-ай! Они же на заказ были сшиты...

Искендер отцепил от свитера брошь и протянул ее Агоппе:

– Спасибо тебе!

Приблизительно через сорок минут, распрощавшись с человеком-ослом, вышли Искендер с Абабилем за ворота и двинулись обратно к метро. Уже в вагоне метро, немного отогревшись, спросил он мишоппу:

- А чего это ты ему такое подарил, в мешочке? Все говорил «с правого берега», с правого берега чего?
- Ну, с правого или нет, тут главное, как сказать. Пусть себе думает, что с правого, он-то в этом все равно ничего не соображает, сам же видел...! Спрашиваешь, что это такое, хитро улыбнулся Абабиль, сам подумай, чего ишаку может быть надо? Не догадываешься...? Овса, конечно! Он хоть и водяной, но ишак же! А овес, между прочим, даже не из наших краев, вчера на базаре прикупил. Вот пусть и ест себе на здоровье, причмокивая, главное только, чтобы не пел. У него, брат, поверь мне, для этого ни голоса, ни слуха: одна большая ослиная задница, на ней только мешки таскать, а не бельканто выводить...Не его это дело, понимаешь? Если Агоппу, в натуре, на сцену выпустят не только соловьи, мишоппы, какие еще остались, до единого передохнут...

На том Первый Вторник, считай, и закончился.

Глава десятая

Письмо

Первый закончился, а второй все никак не начинался. И хуже всего, что с каждым прошедшим днем Искендера все больше мучили нехорошие подозрения. Что если жуликоватый мишоппа больше не появится? Где его, спрашивается, найдешь? Ускакал куда-нибудь на своем сумасшедшем Карагаче, и все дела. Только пыль столбом. Его вон самая ушлая ведьма на территории от 4-го микрорайона до пограничного Аракса со всеми ее подлыми трюками и нюхачами достать не может. Вдруг эта история с молочным хлебцем обман, лишь бы заставить его лезть в этот жуткий колодец? С кого потом спрашивать? Не с Агоппы же...!

Конечно, гнал Искендер от себя эти мысли, как мог. Даже спорил сам с собой, сидя подолгу над нерешенной задачей с процентами и долями, которые все никак не хотели совпасть с ответами в конце учебника. Но подозрения, скажу вам, — такая гадость! Если уж они у вас завелись, изгрызут всего изнутри, как стая бродячих собак. Ни минуты покоя от них не будет.

Абабиль обещал связаться с ним в подходящее время. Еще и предупредил, чтобы Искендер не вздумал его сам искать. Во-первых, мол, хоть лопни, не найдешь, а, во-вторых, – не дай бог, приведешь за собой лишнюю пару глаз или чей-то острый нос. Тогда вечером после колодца показалось ему это вполне резонным. Однако теперь, чем больше думал он об этом, тем ему больше казалось, что мишоппа не появится. Не зря ведь тогда заламывал руки не раз обманутый, судя по всему, человек-осел: «Мишоппам ни в чем доверия нет...», – ну и так далее. Как же не верить этому ослу, когда он, считай, спас ему тогда жизнь?

...А если история с молочным хлебцем вранье, где взять тогда надежду? В каком колодце набрать спасения? Верного лекарства, вместо тех, что не помогают? Она уже и в больницу ездить перестала. Подслушал Искендер, как отец на кухне говорит по телефону, прикрывая трубку рукой: «...плохо...сказали, нужен перерыв...две недели между химией... слишком уж слабая...». Утром и вечером поднимается к ним Марьям-ханым колоть обезболивающее, после которого она засыпает надолго и спит так неподвижно, что становится невыносимо страшно.

В среду после обеда в сапожной будке объявился хортдан. Еще утром стояла запертая на замок, а тут вдруг, возвращаясь из школы, смотрит Искендер, дверь приоткрыта, внутри горит свет, а за узким верстаком кто-то сидит. Подошел он осторожно справа, встал на приличном расстоянии: так и есть — Афлатун собственной персоной. Сидит, как все сапожники, полусогнувшись, на коленях, покрытых фартуком, держит остроносый полуботинок подошвой вверх и ловко вгоняет в нее молоточком гвозди. На носу у него те самые очки, на ногах те самые латаные башмаки, а из нагрудного кармана залихватски торчит шило. На верстаке, заваленном всяким сапожным инструментом, под пожелтевшей фотографией Сталина, висящей сбоку, играет радиоприемник. Не знал бы Искендер, кто такой Афлатун, в жизни бы не догадался. А тут, пожалуйста, сидит сапожник-зомби в 4-м микрорайоне, башмаки ремонтирует, покойного Балоглана Ашрафова слушает.

– Чего тебе? – спросил его хортдан, не отрываясь от работы.

Искендер неопределенно пожал плечами.

– Hv и иди тогда себе...!

Приподнялся он с места, крепко захлопнул дверь в свою будку: пахнуло на мгновенье на Искендера яркой вонью, поменьше, правда, чем в прошлый раз (видно, выветрился чуток), но все равно ощутимо. И хоть вонь отвратительная, но почемуто стало от нее Искендеру немного спокойнее на душе. Хоть в чем-то не соврал мишоппа!

К пятнице, однако, терпение его лопнуло. Что там до следующего вторника осталось? Нет больше сил ждать, когда этот аферист объявится. Вышел он после занятий, огляделся по сторонам на всякий случай: вдруг именно сегодня пришел за ним мишоппа, стоит, например, как в прошлый раз, рядом с будкой, ухмыляется и со своим полупокойным приятелем, живым или мертвым, кости кому-то перемывает. Но ничего такого не случилось. Ни в школьном дворе, ни в будке, ни рядом с кутабной не было и следов Абабиля. Дошел уже Искендер почти до дома, повертелся у гаражей – и там ничего. Ни следа. Не иначе, как сквозь землю провалился. Прошел Искендер мимо овощной лавки, махнул на ходу гиганту Васифу, разгружающему ящики из «газели», сбегал даже в сквер около шашлычной. Все без толку. Оставалась последняя надежда — Вахаб. Сам же Абабиль говорил: если что, идти прямо к нему.

Спрятал Искендер сумку с учебниками в надежном месте в кустах за гаражами (не в первый раз) и зашагал к резервуару прежним маршрутом.

День был хороший. Не то, чтобы теплый, но солнечный. Деревья на улицах стоят еще голые, однако чувствуешь, – вот-вот завяжутся на них зеленые росточки, и воробьи повсюду радостно кричат, стаями и порознь, носятся как очумелые.

Дошагал он до «Браво», свернул от светофора, и тут вдруг что-то такое почувствовал. Сразу и не объяснить. В прежние времена, может, и не обратил бы Искендер внимания, но теперь после всех этих хортданов, водяных ишаков и молочных рептилий (ее разинутая пасть ему до сих пор даже в туалете мерешится!) любой станет по сторонам внимательнее смотреть. Раньше город был как город, люди, машины, а сейчас и к сапожной будке приглядываешься, и к прохожим – поди знай, кто они и что. Вот и теперь, вроде без всякой причины, но показалось ему, будто что-то не так. Как говорится, спиной почувствовал. Сбавил Искендер шаг, руки в карманы сунул, вроде как просто прогуливается, стал головой по сторонам сильнее вертеть, а на самом-то деле через плечо оглядываться. Сперва ничего подозрительного не заметил. Ну, прохожие идут, на него не смотрят, и не так уж много их – улица непопулярная, магазинов мало, ну, машины мимо едут, сигналят друг другу со злостью, как положено, на ветвях воробьи беснуются, воздух пахнет весенней свежестью, бензином и едой (это тянет с застекленных балконов над витриной магазина электротоваров). Короче, беспокоиться, вроде, не о чем, но почему-то по спине опять мурашки. Не от страха, а такое ощущение, что за тобою следят. Может, сверху? Поднял он голову, оглядел окна и балконы – ничего. Подошел тогда Искендер вразвалочку к витрине, стал глазеть на китайские телевизоры с пылесосами, и только тут уж заметил! Из-за угла дома высунулась на секунду носастая голова в кепке и сразу же исчезла. Только фиолетовый кончик носа остался торчать. Чтобы убедиться, что это ему не показалось, Искендер незаметно нырнул в магазин. Усатая, как кавалерист, продавшица, сидевшая на стуле за прилавком, и гладко выбритый дядечка в углу с телефоном, недовольно посмотрели на него.

- Батарейки у вас есть? спросил Искендер, не задумываясь и все время поглядывая через витрину на улицу.
 - Какие? спросила усатая девушка.
 - Круглые.
 - Какой размер?
- Размер... в этот момент мимо витрины, следуя за своим носом, рысцой пробежал ботаник-Лятиф из 22Б. «Так вот оно что, – догадался Искендер, – вот, значит, кто нюхач!» Теперь все сразу встало на свои места: и фиолетовая шишка на носу, и очкастое лицо, и даже волосатый шарф на тощей шее, о котором говорил мишоппа.
 - Размер какой? Ну, толстые, тонкие? нетерпеливо спросила продавщица.
 - Забыл
 - Для пульта? поинтересовался дядечка, не отрываясь от своего телефона.
 - Да говорю же забыл!

Продавщица недовольно фыркнула, дядечка покачал головой, а Искендер, ни капли не смутившись, шагнул обратно к стеклянной двери. Прежде чем выскользнуть наружу, обвел он улицу внимательным взглядом. Лятифа не было видно. Интересно, спрятался он или потерял след...?

Выйдя из магазина, Искендер двинулся вниз по улице в прежнем направлении. Шел он не спеша, будто прогуливался, но при этом краем глаза все время следил за потоком машин слева. Проезжая часть здесь была широкая, разделенная посередине бетонными отбойниками, и безопасно перейти ее можно было лишь по пешеходной зебре на перекрестке. Однако, как только представилась возможность, Искендер сорвался с места и рванул на другую сторону, не обращая внимания на сигналы, визг тормозов и ругань.

Добежав до бензоколонки, он оглянулся: ботаника по-прежнему нигде не было видно. Потерял всё-таки след, носастый дурак! Значит, не такой он уж и супернюхач, как мишоппа рассказывал. Довольный собой Искендер, пробравшись между заправляющимися автомобилями, обогнул зеленую стекляшку Азпетрола... и тут же чуть не налетел на ухмыляющегося Лятифа!

Так они и стояли неподвижно на расстоянии в несколько метров, как ковбои, готовые к дуэли. Только вместо револьверов у одного был крупнокалиберный нос, а у другого — его быстрые ноги. Вокруг шумела и дымила дорога, люди спешили по своим обычным делам, даже не догадываясь, какая драма разыгрывается на обычной заправке, и с чего эти двое, не мигая, буравят друг друга такими жгучими взглядами, словно надеются угадать, что каждый из них думает в эту секунду.

Первым мигнул Искендер. Бросился он бежать без оглядки обратно по улице и остановился передохнуть лишь около «Браво». Лятиф, конечно, сильно отстал. Куда ему за ним угнаться даже с его аэродинамическим носом. Однако радоваться было нечему. Если подумать, Лятифу теперь и нужды нет за ним гоняться. Просто будет следовать за запахом. Как гончая собака! Выходит, какой самый хитрый маршрут ни выбери, через какие замысловатые пустыри и помойки ни бегай, Лятиф все равно найдет, унюхает, потому что глазами видеть ему нужды нет. И хоть до самого утра петляй, от него не скроешься! Вот же невезенье...! Это все, наверное, запах Карагача на куртке! Искендер от отчаяния даже губу закусил. А тут еще на перекрестке опять ботаник замаячил: тощий, как крючковатая жердь, да еще со своим волосатым шарфом, его теперь, пожалуй, ни с кем не спутаешь.

Только как увидел его Искендер на перекрестке, пришла ему вдруг в голову забавная мысль, так что он сразу повеселел.

— Ничего, ничего, сосед! Сейчас ты у меня получишь...! — сказал он сам себе и припустился дальше по улице, но на этот раз легко, вприпрыжку. А пока он бежит куда-то, надо бы рассказать еще немного про носастого ботаника. В конце концов, интересно же знать, откуда у него столько свободного времени берется, чтобы среди белого дня по улицам шастать, когда все остальные на работу ходят.

...Дело в том, что Лятиф еще неделю назад в отпуск вышел. Сил больше нет на работу ходить, от запахов голова кругом идет, пухнет. Как бы не лопнула. С каждым днем проклятый нос становится все чувствительнее, искуснее, что ли, — самые незаметные запахи улавливает. Теперь уже ни в транспорт сесть, ни к людям подойти, сколько же можно ноздри вазелином конопатить? Нос у него теперь такой, что с закрытыми глазами ходить можно. И ветка Карагача ему больше не нужна, запах в памяти засел, в любой толпе среди тысячи других отыщет. Главное, впросак не попасть, как тогда с этим карликом в зеленой куртке! Так и разило от него проклятым деревом, словно он из самого нутра его только что вылез. Обрадовался тогда Лятиф, думал, все, приведет его карлик к заветному дереву, а этот гад завел его куда-то под мост и там такой отборной вонью угостил, что Лятиф три дня кровью сморкался. Видно, сосуды полопались! Ему бы и в голову прежде прийти не могло, что живой че-

ловек может так вонять. А может, и неживой вовсе, ведь только вдохнул ботаник как следует, перед глазами прямо все и завертелось: чужие покойники вереницей, скелеты всякие, гниль подземная вперемешку с древесными корнями, черви любых цветов, крысы, змеи...Короче, мерзость от глаз людских, по понятной причине, обычно скрытая. И вот если взять всю эту мерзость, круто ее замесить и сварить из нее самый густой одеколон – вот такой, наверное, запах и получится. Только и запомнил Лятиф, как в голове у него что-то взорвалось, нос от внутреннего жара распух в картофелину величиной, во рту горечь разлилась невиданная, и уж потом повалился он на землю без сознания в каком-то ужасном ознобе.

Долго лежал. Когда очнулся, над мостом звезды сверкали. Очнулся в куче гадкого мусора, рядом мокрая псина копошилась. Хорошо, пока без сознания был, до него не добралась. Только даже мусор пах лучше, чем разило от того дома с воротами. Как Лятиф обратно дошел, уже и сам не помнит. Ноги еле держали. Добрался до квартиры весь больной, в красных пятнах по всему телу, полтора часа в ванной мочалкой скреб себя. Чуть всю кожу на спине не содрал.

И вот приснился ему сон. Жуткий.

Будто спит Лятиф у себя в кровати, сквозь ватные шарики в носу чувствует, как пахнет дыхание супруги, которая рядом посапывает, ментоловой пастой, желудочными соками и курагой. Понятное дело, как обычно, плохо зубы вычистила. И вдруг слышит, в комнате половицы поскрипывают. Тихо так, будто кошка, мягко ступая лапами, крадется. Открыл в темноте глаза Лятиф, обомлел от ужаса: стоит над кроватью гадалка в белой ночной рубахе. Рубашка длинная, до самого пола, будто саван, а поверх рубашки у нее распущенные волосы, как воронье крыло, и тоже кончиками пола касаются. Гладкие, черные, блестящие. В руках у гадалки гребень. Какой-то замысловатый, видно, что дорогой, из натуральной кости, наверное. И вот лежит Лятиф в своей пижаме под стеганым одеялом и ни шевельнуться, ни сказать ничего не может. Все тело словно морозом прихватило. Ни одна мышца не двигается. Кебире наклоняется к нему очень медленно, в глазах золотистые искры стреляют, и шепчет холодом прямо в ухо:

«Что ж ты дерево мне никак не найдешь? Плохо ищешь, ботаник!»

Лятиф хочет ей ответить и не может, челюсти так свело, того и гляди, зубы раскрошатся. А лицо гадалки все ближе, не оторвать взгляда от ее глаз. Они жуткие, но и такие прекрасные, с поволокой, каждый, как огромная миндалина. И что самое странное, нос его работает на полную мощность, как и прежде, может, даже лучше от страха, чувствует он все запахи в квартире, все вместе и каждый в отдельности, только вот от гадалки ничем не пахнет! Совсем ничем, сколько ни внюхивайся! Улыбается она ему как-то криво и продолжает нашептывать:

«Видно, не понял ты меня с первого раза, ботаник. Времени у тебя уже почти не осталось. Если наговор не сниму, скоро совсем человеком перестанешь быть. Оскотинишься вконец. Все человеческие привычки забудешь. Щетина мерзкая из тебя полезет, начнешь говно свое, как кошка, закапывать, будешь по ночам шастать, птиц и мышей живьем зубами рвать. Страшное это дело, когда человек обратно в скотину превращается. Смотри, Лятиф, не сыщешь мне дерево, не будет тебе спасения. Время тикает, еще немного, и даже я тебе помочь не смогу!»

Сказала, гребнем по волосам своим провела так, что искры посыпались, и медленно вышла из спальни. На этом Лятиф и проснулся. Вскочил с места, зуб на зуб от холода не попадает. Жена во сне заворочалась. А Лятиф с кровати слез, свитер коекак через голову натянул, никак не может согреться, теплые носки надел – все равно колотит. Вышел он в коридор, снял с вешалки пальто, напялил, шею шарфом обмотал и все время озирается, все ему кажется, что это не сон был. Что и вправду гадалка приходила. Доковылял до кухни, чайник поставил, глянул в окно на соседний дом – все спят, конечно, четыре часа утра как-никак. Самое сонное время. Спросите

Гюльхоша Мамедовича, он-то уж точно знает. Все да не все: окна Кебире на первом этаже светятся! Еще больше разволновался Лятиф, даже спина зачесалась, встал он в проем и давай прямо через пальто спину о дверной косяк чесать, но, сколько ни чесал, пользы нет, зудит где-то между лопатками и зудит. Исхитрился он тогда, закинул руку сколько мог за спину, под одежду залез, начал ногтями скрести, что такое...? Чувствует он под пальцами растущую щетину! Жесткую, кудрявую. Тут бы Лятифу еще раз в обморок свалиться, но не случилось. Сел он за кухонный стол, голову руками обхватил и заплакал, несчастный.

Надо бы сказать, что в эту самую ночь снилась гадалка не одному только Лятифу. Навестила подлая и Гюльхоша Мамедовича. Тем более, что они с ботаником соседи, в одном подъезде живут, так что далеко бегать не надо, всего-то подняться этажом выше. Хотя, может, и наоборот все было: вначале показалась она участковому, а уж потом ботанику, но сути дела это не меняет. С Гюльхошем Мамедовичем разговор, однако, у нее не получился. А все потому, что с ее заговором неудачно вышло. Что тут говорить, и у самых поганых ведьм случаются осечки. Она-то его приговором сна лишила, а оно вон как вышло. Получил он по голове от Карагача и теперь спит сутками напролет тюленем, не приходя в сознание. За деревом не охотится, службу свою не исполняет. Никакой пользы! Только жрет за двоих. Государственный человек называется! Все они такие! Принялась ведьма на него во сне шипеть по-всякому. Сказала, что изведет совсем, да еще в придачу вместе с сыновьями-поэтами, а Гюльхошу Мамедовичу наплевать. Понравилась, видно, ему такая жизнь. Чем плохо: сытый, сухой, всегда на мягкой подушке, сопи себя в две ноздри и ни о чем не беспокойся. Не надо на службу ходить, деньги где попало добывать, начальство ублажать, в доверие к нему втираться, никто тебе не звонит, никто ничего не просит. Рай! Пузо, как на дрожжах, растет, щеки от хорошего здоровья порозовели, гемоглобин такой, что стены красить можно (доктор сказала), еще красивее стал Гюльхош Мамедович, еще глаже. Натуральный спящий принц в спортивных штанах. С него теперь хоть рекламу снимай. Дорогих матрасов, например. Или снотворного. Нет, что ни говори, повезло ему с заклятьем. Не то, что ботанику. Тому и по жизни-то не очень, а с заклятьем совсем не подфартило. Так что, сколько гадалка ни ругалась, Гюльхош Мамедович и бровью не повел. Даже не дослушал ведьму, на другой бок повернулся и, извиняюсь, оглушительно пукнул. Кебире от бешенства чуть язык не проглотила. Уж не из волос, из глаз искры фонтаном посыпались, чуть штора не загорелась!

Такие вот дела. А пока мы тут на соседские сны отвлеклись, Искендер с ботаником на хвосте добрался уже до сапожной будки. План у него был нехитрый: зайти к вонючке, типа, насчет обуви, а Лятиф пусть опять зловоньем подавится. Посмотрим, сколько выдержит. Скорее всего, уберется прочь, а дальше видно будет. Только как бы самому от вони не задохнуться, он хоть и не нюхач, но нос все-таки тоже не казенный.

Когда Искендер подошел к будке, Лятиф сразу остановился в тени девятиэтажки. Просто встал как вкопанный, ни шага вперед. Будто на земле перед ним провели невидимую красную линию, за которую заступать ни в коем случае нельзя. На расстоянии чует, гад, хортдана! И вроде воздух свежий, солнце за крыши клонится, заливает все медным светом, отражается в окнах, ветерок приятный гуляет... Искендер воздуха в грудь набрал, будто в море нырять собрался, открыл дверь на себя: внутри полупокойный Афлатун портрет Сталина тряпочкой обмахивал, видно, мухи засидели. Обернулся он к Искендеру, посмотрел вопросительно.

- Добрый день! сказал Искендер гундосо, как будто нос у него от простуды заложен. И потому вместо «добрый» вышло у него «добгый».
 - Добрый. Чего надо? спросил зомби, присаживаясь обратно на табурет.
- У меня тут что-то внутри, показал он на правую кроссовку, как будто гвоздик в пятку втыкается. Посмотрите?

Расшнуровал Искендер правую кроссовку, которая, как и левая, несмотря что новые, после молочного колодца будто чуток усохли, еще и краска потрескалась, пропали, короче, кроссовки, стали выглядеть хуже, чем старые.

Пока Афлатун стельки выковыривал, Искендер несколько раз в сторону Лятифа поглядел. Стоит. Не уходит. Долго еще, спрашивается, стоять будет? Когда-нибудь же ему надоест!

- Нет тут никакого гвоздика. На клее. Здесь гвоздей не бывает. Видишь, вот тут отошло, пальцем с квадратным желтым ногтем оттянул зомби кожзаменитель на задней части кроссовки. Это я тебе подклею.
- Хорошо, согласился Искендер, а сам выглянул из будки, опять посмотрел на Лятифа столбом стоит. Не двигается даже! А время к вечеру, домой надо. Солнце уже наполовину за крыши заваливается, хотя повисит еще, прежде чем смеркаться начнет. Вот приспичило этому нюхачу!
- Тогда и второй снимай, заодно и его поклею. Китайское барахло, покачал головой Афлатун, а из ушей хлопья перхоти посыпались и прямо на его черный фартук. Расшнуровал Искендер и вторую кроссовку, хотя в кармане из денег всего один манат. Не густо.
- Вот раньше делали... Адидас...! И на свадьбу в них, и на похороны. На похороны даже лучше водонепроницаемые. В землю закопаешь, глянул он исподтишка на Искендера, два года ничего их не берет. Как новенькие. А ты знаешь, отчего так называется Адидас...?
 - Нет.
- Эх...! Ничему вас в школах не учат! Только и знаете в телефоны глазеть на всякое непотребство, вместо того, чтобы делом заниматься! Искендер незаметно улыбнулся, вспомнил, что почти то же самое слово в слово говорил Абабиль. Может, он от хортдана это и перенял? Очень уж вороватый на все этот мишоппа!
- Адидас, между прочим, наш местный придумал. Я его лично знал. Отличный был сапожник. Мастер! А на самом деле работал под прикрытием и был Героем Советского Союза, но об этом тогда никто не знал, конечно. Вот так вот! Кому могло в голову прийти, что Адиль-сапожник разведчик? Как Зорге. Лично Сталин его в Германию отправлял на военном самолете, хортдан обернулся и указал пальцем на портрет Вождя народов. Уж какой великий был человек, а не поленился, сам приехал на чкаловский аэродром, обнял Адиля, передал ему наградной наган, сухой паек на четыре дня и десять тысяч немецких марок. Адиль Досталиев, неужели не слышал никогда?
 - Нет.
- Да откуда тебе. Он же совсем засекреченный был. А в молодости такие сапоги мог шить, что они на ногу, как собственная кожа, садились. Мягкие, мягкие...! Так, между прочим, они со Сталиным и познакомились, он ему в Ахалкалаки сапоги стачал. Сталину очень понравились. И уж когда он вождем стал, только его сапоги и носил. А сразу после войны забросили Адиля в Саарбрюккен. Резидентом. Тут вождь умер, и Адиль уже возвращаться не стал. И правильно сделал, скажу тебе. Остался жить в Германии. Пиво ему там очень понравилось. Переехал в Магдебург. Потихоньку начал кеды шить из чего попало, обжился постепенно. А потом уже фирму создал, а название взял от своего имени и фамилии. Сокращенно выходит Адидас.

Искендер подумал немного:

- Тогда должно быть «АдидОс», если он Досталиев.
- Адидос не звучит, авторитетно возразил Афлатун. Держи, готово! Ходить будут.

Натянув кроссовки, Искендер присел на корточки и принялся их медленно зашнуровывать, чтобы потянуть время. Он все еще надеялся, что нюхачу надоест ждать. Но, как ни тяни, завязать два шнурка – дело недолгое.

- Сколько? спросил он, смущаясь: все-таки один манат за историю с разведчиком и поклеенные подошвы было явно маловато. Хортдан поправил очки на носу:
 - Да ладно, чего там, иди так.
- Спасибо! даже растерялся Искендер. А Абабиль-то все говорил, что хортдан за копейку удавится, получается, и тут наврал? Ну, как ему после этого верить? Запах от Афлатуна хотя и ужасный, и никак к нему не привыкнешь, не принюхаешься, но мастер он, видно, хороший, и характер у него покладистый, лучше, чем у иных живых.

Поблагодарил его Искендер еще раз и вышел из будки. А Лятиф все стоит, даже ни на миллиметр с места не сдвинулся, будто ноги ему к земле приклеили. Памятник какой-то, а не человек! Только тень от него сместилась вниз и сделалась длиннее. Это потому, что солнце уже за крышами, остались от него лишь медные отблески между домами, в школьном дворе сгущаются голубые сумерки. Что дальше делать? Хочешь, не хочешь, а придется домой возвращаться. Вздохнул Искендер и осторожно двинулся в сторону кутабной. Но как только он первый шаг сделал, нюхач от своего места отклеился и на шаг назад отступил. Искендер вторую ногу вперед, Лятиф еще на шаг назад. И так до самой кутабной. «Ага, – догадался Искендер, – запах хортдана на мне чует! Сохраняет дистанцию, придурок, опасается...!»

Так они и шли. Вначале Лятиф только пятился, а потом, видимо, сообразил, сдвинулся в сторону, дал Искендеру вперед пройти, сам сзади пристроился.

Перебежал Искендер дорогу, проскочил мимо заброшенного кинотеатра «Пионер», мимо стоянки, почти было дошел до подъезда, когда вдруг вспомнил про сумку с учебниками. Пришлось возвращаться. Лятиф к тому времени куда-то пропал. Наверное, понял, что Искендер прямиком домой идет, и значит толку за ним теперь тащиться уже никакого.

Но Искендер на всякий случай огляделся, прежде чем за гаражи зашел.

Место здесь, чтобы спрятать чего-нибудь, самое подходящее. Во-первых, темно все время, даже в самый ясный день. Тени много. Во-вторых, ни с улицы тебя не видно, ни со стороны двора, потому что слева гаражи, дальше высокая ограда помойки, за которой стоят мусорные баки, а сзади кусты и деревья плотной стеной.

…И не в первый раз он здесь свой рюкзак с учебниками прячет, только теперь пропал он куда-то! Шарил Искендер, шарил в кустах, искололся весь, исцарапался – нигде нет. На четвереньки встал, джинсы испачкал, все без толку. И вдруг:

– Может, ты это ищешь?

Вскочил Искендер на ноги. Прямо перед ним между двумя соснами стоит ботаник, школьная сумка у него через плечо висит. Нос нюхача шарфом прикрыт, одни глаза видны из-под козырька кепки, кровью налитые, крошечные, глядят зло, будто это и не сосед ботаник — глупый, но безвредный сплетник из шестого подъезда дома 22Б, — а кто-то другой.

- Это моя, ответил Искендер.
- Ну, возьми.

Сказать сказал, а сумку с плеча не снял. Голос у Лятифа, между прочим, тоже изменился, стал какой-то каркающий, будто и вправду говоришь с вороном или еще какой-нибудь темной птицей. Искендер глазами по сторонам порыскал: боязно, вокруг никого нет, темнеет, а с другой стороны, — ну, не набросится же он на него, будь хоть трижды нюхач, ведь сосед все-таки. Да и не так уж темно, это просто здесь за гаражами так кажется.

- Испугался, что ли? очень уж криво усмехнулся Лятиф.
- Чего это я боюсь?
- А чего тогда от меня весь день бегал? На, забирай свой портфель...

Шагнул Искендер вперед, но только потянулся к своей сумке, как ботаник неожиданно как-то ловко его за горло ухватил, а ладонью правой руки прикрыл рот.

Искендер стал вырываться, но куда тут! Дыхание сразу переперло, пальцы на горле так сжимают, что перед глазами одни фиолетовые круги да искры фонтаном. Он коленями Лятифа пинает, руками отпихивает, пальцы его пытается на горле разжать, а сам чувствует, что слабеет с каждой секундой, пока нюхач злобно шипит через шарф ему прямо в ухо:

– Говори, сучий сын, где дерево спрятали...! Задушу...! Мне терять нечего...

Еще немного, ведь и вправду задушит! Уже и кругов перед глазами не видно, темнота одна пошла, ноги подкашиваются. Нет! Не разжать ему пальцы проклятого ботаника, как стальные обручи только сжимаются сильнее. Кто же мог знать, что в нем столько силы окажется? Искендер уже и пинать его перестал, только дергается судорожно.

– ...где Карагач...гаденыш...? – шипит нюхач, – ...душу из тебя вытрясу!

(Все-таки не зря говорят, что этот Лятиф – дурак редкостный. Да как же Искендер тебе что-нибудь скажет, когда ты ему рот ладонью законопатил?) Но тут вдруг тиски на горле разжались, в грудь воздух пошел, темнота перед глазами расступаться стала, не удержавшись на ватных ногах, Искендер в голые кусты повалился.

– ...ах, ты подонок... гадина... Полиция! – услышал он, жадно дыша, – ...что с мальчиком сделал...! Люди, смотрите, что творится, среди белого дня...

День был, конечно, давно не белый, а скорее, самый настоящий вечер, но в общем Марьям-ханым была права: крутит она над головой женской сумочкой, как булавой, из глаз желтые искры брызжут. Повезло Искендеру, скажу я вам, если бы не соседка, еще не известно, чем бы все кончилось. Может, удушил бы его очумевший от запахов Лятиф. А тут она как раз шла к автобусной остановке, собиралась по дороге пакет с мусором выбросить. Как она их там в кустах углядела? С ходу хрястнула ботаника сзади мусором по голове, Лятиф Искендера сразу отпустил и будто антилопа, перескакивая через кусты на всех четверых, умчался прочь, только его и видели. Не зря ведь гадалка предупреждала: с каждым днем все меньше в нем человеческого, скоро совсем неведомой скотиной сделается.

Бросилась Марьям-ханым к Искендеру, схватила его за плечи, в лицо заглядывает, трясет его:

- Что он с тобой сделал? Говори...! Говори! Кто это был? Что от тебя хотел...? Искендер в ответ головой мотает, мол, не знаю. Говорить-то тяжело, горло как огнем горит. Что там говорить даже дышать еще тяжело! Да и как ей все объяснить? Про одного Лятифа ведь не расскажешь, нужно будет и про Карагач тогда все открыть, и про мишоппу, а делать этого ни в коем случае нельзя. Марьям-ханым женщина очень хорошая, пусть и со странностями, но про дерево знать ей не нужно.
- Что с тобой сделал этот больной подонок? все не унималась она, ощупывая Искендера с ног до головы.
- Ничего, выдавил он, наконец, хрипло и сам удивился своему голосу, сделался он таким же каркающим, как у Лятифа.
 - Ты разглядел, кто это был, узнать сможешь?
 - Придурок какой-то... Рюкзак мой хотел утащить...
- Ой, ты, боже мой, голосила Марьям-ханым, совсем с ума посходили! Что же творится, а...! Полицию звать надо! Вставай, вставай, сынок, не сиди на холодной земле, домой отведу тебя, суп перловый еще теплый на плите...

Сумка с учебниками, кстати, нашлась в целости и сохранности. Видно, обронил ее ботаник. Так что, не считая синяков на шее и хриплого голоса, все, можно сказать, обошлось благополучно.

Ну, дома, конечно, пришлось объясняться. «Где был, почему так поздно после школы явился, кто напал, как выглядел...» – и так далее. Пришлось врать. А что было еще делать? И неплохо, скажу вам, получилось, складно. Вот что значит водиться с мишоппой! Того и гляди, начнешь белье соседское с балконов тащить.

Наврал он складно, но все равно запретили ему гулять выходить и наказали теперь после школы ровно по часам домой возвращаться. Конечно, так и чесался у него язык наябедничать отцу на придурка Лятифа, чтобы тот ему хорошенько по шее врезал. Но Искендер удержался. Нельзя. Сейчас главное — мишоппу найти. А как? Если и к Вахабу уже не выберешься — на носу суббота с воскресеньем, придется ждать понедельника. Если что, решил Искендер, прогуляю школу. С утра в понедельник прямиком на стройку и отправлюсь.

Суббота прошла без происшествий. И у мамы выдался хороший день. Смотрели с ней телевизор, Марьям-ханым забегала проведать, принесла блинчики с мясом чуть не целый таз. Даже отец с работы вернулся раньше обычного — кто-то крыло его «корейцу» помял немного. Не в первый раз... В общем, суббота неплохая оказалась, давно у них такой не было с тех пор, как мама заболела.

Вот только ночью проснулся Искендер от того, что опять его душат. Будто в рот ваты натолкали, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Чувствует он на груди и на лице что-то черное, не разглядеть сразу, вроде, как живое. Он от себя эту черноту отпихивает, а это оказывается гадалкина жирная кошка! Обернулась, зрачками изумрудными сверкнула, метнулась в конец кровати. Искендер отплевывается, изо рта комки кошачьей шерсти лезут, но, сколько ни выкашливай, не кончаются, будто все его нутро этой шерстью набито. Она и на зубах, и на языке, и на небе. И будто в носу даже. Кошка спину выгнула, по усам электрические разряды пробегают, в комнате темно, но она еще чернее, чем темнота. Искендер хочет ее с кровати согнать, ногами дрыгает, но куда там, она только фыркает и хвостом о спинку кровати колотит. Хочется ему закричать, позвать на помощь, но как, если рот шерстью полон? Не продохнуть. Придвинулся он к краю, скатился на пол с грохотом, так что в гостиной в серванте посуда задребезжала. Грохот, наверное, на весь дом был слышен.

Первым в комнату забежал отец, свет включил, Искендер на полу сидит, глаза кулаком трет. Не спросонья, от пережитого страха. Потом мама пришла, у самой под глазами темные круги, щеки впали, села она на краешек кровати, обняла его за голову:

- Что такое, сынок?
- Кошка, мама...
- Какая еще кошка, зевает отец, вот балбес, весь дом перебудил...

Повернулся и пошел обратно спать.

– Это ты растешь, если во сне падаешь, – целует она его мокрые от слез щеки.
 – Ну, ну! Уже совсем большой мальчик...

Правильно сказала: не важно, куда падаешь, хоть на пол с кровати, хоть в древний колодец с рептилией – если падаешь во сне, значит растешь. Не вырастешь, пока не научишься падать. Правило такое же верное, как закон Архимеда или рецепт баклажанового одеколона. И Искендер его знал не хуже других. Но еще он знал, что не просто так ему кошка от Кебире явилась. Не просто душила его во сне, черным своим сердцем чувствует гадалка, что Искендер ни перед чем не остановится, чтобы заклятье ее разрушить!

Все воскресенье был Искендер как на иголках. Скорее бы уж день прошел! Скорее бы уж понедельник, разыскать Вахаба, узнать, где прячется Абабиль, и сразу к нему! Нужно было еще тогда, во дворце, расспросить про второе задание. Целый день Искендер на часы посматривал. Только когда дело к вечеру пошло, немного успокоился. После ужина пришлось опять Марьям-ханым звать, чтобы укол сделала. Мама уснула, Искендер один на диване сел телевизор смотреть, отец еще не вернулся. Искендера на диване разморило, в сон потянуло, но тут вдруг кто-то в дверь постучался. Не очень громко, но настойчиво. Может, Марьям-ханым проведать поднялась, так она недавно как ушла, могла бы по телефону набрать. Вышел Искендер в коридор, в глазок стал глядеть: никого за дверью нет. На площадке свет автома-

тически включился, а никого не видно. А что, если это отмороженный Лятиф? Вдруг у него совсем крыша поехала? Да нет, успокоил он сам себя, вряд ли ботаник сюда сунется. Скорее, уж где-нибудь около школы будет его поджидать.

– Кто там? – спросил Искендер. Голос нормальный ему еще в субботу вернулся, только немного хрипотца осталась, как после простуды. Услышал он звук чьих-то шагов, кто-то быстро сбежал по лестнице вниз. Постоял он немного, подумал. Может, шапку под дверь подбросили, праздник же, Новруз? Вообще-то рановато шапки подбрасывать. Но мало ли. Накинул он на всякий случай дверную цепочку и приоткрыл дверь. Точно! Прямо на резиновом коврике у порога что-то лежит. Только это не шапка, не кепка, не бейсболка и даже не целлофановый пакет, как некоторые вместо шапок подбрасывают, а обыкновенная обувная коробка. Чего-чего, а такого он еще не видел! Еще бы ведро поставили...!

Снял Искендер цепочку, открыл дверь шире, хотел поднять крышку – не вышло, скотчем к коробке примотана. Внутри что-то есть. Глянул он напоследок в лестничный пролет и зашел обратно в квартиру. А как зашел, сразу же в коридоре в тепле учуял знакомый запах. Конечно, хортданом пахнет! Да не пахнет, шибает прямо в нос! Вот уж совсем непонятно. Отодрал Искендер картонную крышку и, к своему совершенному удивлению, увидел внутри изрядно разношенный ботинок, при этом щедро натертый обувным кремом.

Любой бы растерялся, получи он такое под дверь поздним вечером. Но если имеешь дело сплошь с мертвецами, нюхачами, пауками и гадалками — ко всему надо быть готовым. Тут надо научиться думать, как они думают. Задача непростая. Вот и Искендер глядел, глядел, а так ничего и не сообразил. С чего это хортдану было ему башмак подбрасывать? Показать, какой он искусный сапожник, что ли? Шнурки на ботинке, кажется, только что из магазина, новая подошва аккуратно прилажена, сбоку свежий шов. Брезгливо сунул он руку внутрь башмака — ничего, мягкие стельки. Размер — как детская могила, разве что Асифу с Васифом из овощного впору придется. Но ведь зачем-то этот полупокойник его принес? Кстати, откуда он адрес узнал...? Может, следил? Искендер даже вспотел от волнения. А если башмак не от хортдана вовсе? Нет, ясно, что из его будки, его работа, но принес кто-то другой? ...Одни вопросы, короче. А до следующего вторника всего один день остался. И чувство такое, что все это вместе связано.

Вынул он ботинок из коробки, перевернул – тогда-то все сразу понятно стало. На нехоженой еще подошве мелким таким, убористом почерком, но со всякими красивыми вензелями и завитушками в каждой заглавной букве, ярко-красным маркером было выведено следующее:

«Салам, брат!

Нужно 20 манатов. Меньше никак. Встречаемся сам знаешь, в какой день. Время — как в прошлый раз. Буду ждать во дворе школы, не той, про которую думаешь, а следующей с похожим номером (ниже). Опять в гости пойдем, чтоб меня не позорить, оденься чисто. Соседа можешь пока не бояться, моряк ему по шее вломил. Потом расскажу. А тому, кто доставит это письмо, при случае скажи спасибо, ты его знаешь (лично знал Адидаса). Письмо лучше уничтожь. Сам знаешь, зачем.

До встречи, твой брат А.»

(в голову бы мне никогда не пришло, что у мишоппы может быть такой каллиграфический почерк, я вообще не был уверен, что он писать умеет!)

Искендер от радости чуть в пляс не пустился. Три раза послание перечитал. Наизусть выучил. Все понятно! Когда? Во вторник. Во сколько? В 6 часов вечера. Где? Он ходит в школу 211, а вниз по улице в двух кварталах как раз школа с похожим номером — 111! Тут и думать не надо! Держит свое слово Абабиль! Стало Искендеру даже неудобно, что он про мишоппу плохо думать начал... В это самое время в двери стал поворачиваться ключ, видимо, отец вернулся. Искендер башмак в коробку бросил, крышкой кое-как закрыл и в своей комнате затолкал под кровать. Очень вовремя, отец уже в коридоре куртку на вешалку закинул.

- Слушай, спросил он вполголоса, принюхиваясь, а чем это у нас так воняет? Будто кошка сдохла? Фу...!
- Ничего не чувствую, у меня нос заложило... может, из канализации? развел руками Искендер (и получается, опять соврал!).

На следующий день выкинул он башмак в мусорный бак от чужих (да и от своих) носов подальше, там ему самое место, а после школы забежал к сапожнику с пахлавой и чуду́ из тех, что их Марьям-ханым аккуратно снабжает. Афлатун хотя и сделал вид, что не понимает, о чем речь, но все равно обрадовался.

Ясное дело, вежливое обхождение и покойнику приятно!

Глава одиннадцатая

Второй Вторник (Огонь)

…Ах, люблю я эти вторники! И каждый из них по-своему. Нет лучше праздника. Помню, знакомый мишоппа (не древесный, этим не очень доверяю, а из тех, что на вокзалах живут) сказал мне как-то: «Кому это, – говорит, – в голову пришла дебильная мысль Новый год зимой устраивать? В самое поганое время? Если разобраться, Новый год только весной и может быть.... А зимой нужно спать ложиться, чтобы в уши не надуло, окна как следует законопатить и отбой до следующей станции». И ведь не поспоришь, вокзальный знал, что говорил. И потом, что за спешка такое важное событие в один день отмечать? Никакой обстоятельности, никакого смысла – все на ходу. Главное, до полуночи за столом наесться – вот и весь праздник.

А здесь целый месяц. Целых четыре вторника. Празднуй себе на здоровье, пока глаза из головы не выскочат. И поесть времени достаточно, и подумать, как следует, и отдохнуть. Дело же самое серьезное, природа после зимы, как хортдан, просыпается!

За прошедшую неделю рогатый месяц над головой раздобрел, весу набрал, совсем близко к моей крыше висит. Крыша, конечно, не моя, это я только так говорю. Зато дворы и улицы как на ладони. Вижу, горят костры. В Огненный Вторник этим кострам даже кошки рады. Хоть весь дом спали, а огонь обязательно должен быть. И не просто угольки в мангале, а так, чтобы искры в черное небо стреляли, воздух от всякой заразы очистить. Чем громче гудят поленья, тем глубже прячутся пауки в свои норы.

А насчет кошек, это я, пожалуй, погорячился, извиняюсь, с кем не бывает, им на костры наплевать...

Между тем:

- Фьюти-фьют-фьюти-фью! услышал Искендер тихий свист за спиной. Затрещали темные кусты возле каменной ограды, и через секунду из них выбрался улыбающийся во весь рот Абабиль. Тут уж Искендер не удержался. Бросился на радостях к нему, обнял, как потерянного родственника. Между нами говоря, не каждому родственнику так обрадуешься.
- Ладно, ладно, чего ты...! засмущался мишоппа, хлопая его по спине. Живой я, здоровый...Аппетит хороший, сплю сколько надо, в туалет два раза...
 - Боялся, что ты не придешь... шмыгнул носом Искендер. Обманешь...
- Вот тебе раз! удивился мишоппа. Как же тебе не стыдно про бедного Абабиля такие гадости думать? Никак не ожидал от тебя...!

Мишоппа стал нервно потирать шапочкой лысую макушку.

- Вот и делай после этого хорошее! Бедный Абабиль жизнью каждый день рискует, всякая сволочь в городе за ним охотится, вконец извести хотят, а ты...
- Ну, Агоппу же ты ...кинул. Вот я и подумал... пряча глаза, сказал Искендер. Было довольно темно. Фонари горели только у входа в школу. Мишоппа рассерженно топнул ногой:
- Чего это я его кинул? Отличного молока этому ишаку достал! И вообще, ему по жизни мешки таскать полагается, навоз давать на удобрения, а не песни распевать...! Каждый должен своим делом заниматься! Я же вот в академики не лезу и по свадьбам не хожу. Сам подумай, если вместо того, чтобы за Карагачем присматривать, я начну бельканто тренировать или, как Афлатун, по могилам шастать, а он, наоборот, вместо меня в дерево полезет выйдет одна сплошная язва желудка...! Знаешь, что это такое?
 - Болезнь такая.
- Ужас это, а не болезнь! Ухо потяни! От рыбных консервов случается, если их с творогом кушать.
 - Кто же рыбные консервы с творогом ест?
- Э, брат, дураков хватает! Уж поверь мне. Английские ученые говорят, на одного нормального ровно девятнадцать с половиной дураков приходится. А им верить можно, у них ишаки в академиках не заседают. Ни водные, ни сухопутные...

Где-то за оградой школы рванула петарда. Мишоппа инстинктивно втянул голову в плечи:

- Чтоб их...! От этих хлопушек душа не на месте, того и гляди, подпалят чегонибудь!
 - А где Карагач? шепотом спросил Искендер, озираясь по сторонам.
- Не ищи, не найдешь, за школой стоит в тенечке. С дороги движок еще не остыл. Отдыхает.
 - Значит, опять на метро поедем?
- Погоди пока ехать. Что следующее по рецепту, помнишь? Яйцо! Куриное, сам понимаешь, не годится.
 - А какое нужно?

Мишоппа оглянулся через плечо и, выставив розовое ухо, прислушался к уличному шуму за оградой:

- Симург добывать надо, произнес он одними губами.
- Чего...? Симург...? Серьезно, что ли? Я думал, их не бывает...
- Ну, ты даешь! горячо зашептал мишоппа. Значит, ведьма у тебя на первом этаже с паспортом и пропиской проживает это бывает, а Симург нет? На видто ты поумнее будешь! Все ведь связано, братец. Сколько же тебя учить? Если в рецепте сказано яйцо Симург, значит и птица такая должна быть! Какой же дурак зря писать будет? Понятно? К примеру, возьми Карагач: если он существует, значит где-то к нему и мишоппа найдется. И наоборот. Такая, брат, эволюция! Одно без другого никак не работает. Короче, Симург птица глупая, поймать ее ума много не надо. Подманишь, и все. Главное, знать, чем. Хоть тебе Симург, хоть курица: головки у них маленькие, мозгов, считай, нет жадность одна. Гузками думают.
 - Я и не спорю. Просто спросил. Пошли тогда ловить.
- В этом-то и задача, вздохнул мишоппа и обошел Искендера кругом. Симурги только в огне рождаются, натура у них такая, огненная. И для этого день сегодня самый подходящий. Вот только где огонь нужный взять...
 - Да чего тут думать? Вон, в каждом дворе костры! Мы и сами развести можем...
- Э-э-э! Все никак ты в толк не возьмешь! Только же сказал: из обычного одно обычное и получается...! Огонь нужен изнутри земли. Нутряной. Другой не годится. В другом Симурги дохнут. А чего нам с дохлой птицей делать?
 - Из вулкана, что ли?

– Можно и из вулкана, – задумчиво почесал лоб мишоппа. – А ты знаешь какойнибудь подходящий?

Все вулканы, о которых когда-нибудь слышал Искендер, находились, кажется, за границей.

- Вот и я не знаю. По дороге в Сумгайыт есть один, только он грязевой. А из грязи, сам понимаешь, одни бактерии рождаются и понос. Бактерии нам на фиг не нужны. Нам Симург нужен. На, погрызи, зачерпнув из кармана куртки, Абабиль протянул Искендеру горсть семечек.
 - Не хочу, что делать, скажи!
- Тише ты! На весь двор раскричался... мишоппа присел на корточки и, с аппетитом лузгая семечки, стал говорить, как бы рассуждая вслух: Про вулканы-то я сразу и не подумал. Они и правда нутряным огнем плюются. Самым настоящим. Вот были бы мы, понимаешь, в Индонезии, добыли бы огня из Кракатау. Ведрами черпай, не вычерпаешь. Не хуже молочного колодца. Жила та же самая. Только там она огонь дает, а у нас молоко. А в Германии пиво нефильтрованное. В городе Женева...
 - Что ж нам делать тогда?
- А что делают, когда рядом приличного вулкана нет? Абабиль выдержал долгую паузу, хитро поглядывая на Искендера из-под кустистых бровей. – Находят Дэва!
 - Чего...? растерянно захлопал глазами Искендер.
- Дэва, говорю, искать надо, вот чего! Они тоже твари огненные. Вроде как ходячие мини-вулканы, мобильные. Из них из всех отверстий огонь так и прет.
 - Еше лучше! А где его взять? Дэва...?
- Так в Мазендаране! поплевывая шелухой, уверенно ответил мишоппа. Дэвы все там, это каждый знает. Кучкуются вокруг горы Демавенд. Тоже вулкан, между прочим. Из него они и рождаются, им и греются. Сидят себе по пещерам, дикие, голые, народ по ночам пугают, тьфу...!
 - А чего голые?
- Дэвы, потому что. Чего с них взять... И еще в пещерах жарко, лава кругом. У тебя знакомые в Иране есть?
 - Откуда!
- Вот и у меня тоже не осталось. Последняя тетка Луму была. Весточку бы ей заранее отправили, она бы нам автобусом живого огня выслала в канистре какойнибудь. Так раньше и делали. Еще бы и нуги мешочек приложила. Только теперь что уж говорить. Нет тетки Луму. Я ж говорю круглый сирота я. Дерево ее на корню высохло, и она вместе с ним в черную корягу превратилась. Торчит сейчас в лесу, древоточцев кормит, если на шашлыки не порубили. Верное дело, конечно, к Демавенду самим смотаться. А что? Аракс перешел и так себе, шажками, шажками до самого Мазендарана доберешься. Отец мой туда каждую осень коров на ярмарку гонял. Встанет на ходули и вперед, даже ног не замочит. Коров менял на хну. На копченый рис. На басму. Сушеные помидоры у них очень вкусные. Главное, по дороге на сирен не отвлекаться. Они, отец рассказывал, по ночам в караван-сараях веселые песни поют и животами крутят, отвлекают, пока их подельники коров у купцов таскают. Короче, за месяц со всеми остановками можно обернуться, мечтательно рассказывал мишоппа, а потом вдруг, осекшись, сказал строго: Только у нас, братец, времени с тобой нет! Огненный Вторник сегодня!
 - Что же делать...! в отчаянии воскликнул Искендер.
- Ладно, ладно! стряхивая шелуху с полы куртки, поднялся с корточек мишоппа. Что бы ты без меня делал? Пошли уже. Нашел я тебе Дэва. И в Иран ходить не надо. Рядом совсем. Даже не одного нашел, целый выводок! Им только волю дай, весь город спалят, проклятые, пока эмчээс приедет...! Деньги ты принес? Двадцать манатов...?

Идти пришлось в самом деле недалеко. Только-то между домами проскочили, сквер с шашлычной прошли, ближе к 9-му микрорайону сместились и вот, пожалуйста, добрались до высоченных железных ворот частного дома в узеньком переулке. А за воротами громкая музыка играет, свадьба, что ли, гуляет? Мишоппа с Искендера бейсболку снял, поглядел на него, прищурившись, кивнул, бейсболку обратно на голову приладил, откашлялся, будто горло прочистил, и принялся изо всех сил кулаком в ворота колотить.

Но только музыка гремела так заливисто и вразнобой, что вряд ли хозяева хоть что-нибудь слышали. Да и кулачок у мишоппы не больше, чем у Искендера. Колотил он, колотил, пока у него уши не начали краснеть. Искендер, между тем, сообразительнее оказался: разглядел на стене кнопку звонка, позвонил.

Наконец, дверь в воротах открылась. Показался в проеме очень толстый мальчик в шикарной красной рубахе навыпуск. Атласной, без воротника. Лицо у него было круглое, словно тарелка, щеки алые, глаза в две узкие щелочки, черные, как угольки, и совсем без ресниц, зато на самой макушке волосы в такие мелкие кудряшки закручены, будто это и не волосы вовсе, а каракулевый мех.

– C праздником, сынок! – улыбнулся ему мишоппа, – вызови кого-нибудь из старших, скажи, брат Абабиль пришел.

Мальчик головой вертеть не стал, видно, щеки мешали, да и шеи у него, кажется, почти не было, голова так и крепилась к плечам, поэтому развернулся всем телом, как бочонок на коротких ножках, и пробасил по-взрослому:

– Тут братец-мишоппа пришел! Пускать...?

Музыка постепенно расстроилась и смолкла.

– Пусть заходит! – послышался из-за ворот зычный голос.

Голос сразу показался Искендеру знакомым. Но так сразу и не сообразишь, где слышал.

Вошли они во двор, и Искендер прямо обомлел. Вот раньше бы знать, кто в их микрорайоне есть кто! Не повстречался бы ему мишоппа, так бы никогда и не узнал!

На расставленных полукругом стульях с одного края щерился ему новенькими золотыми зубами Васиф в гигантских тапочках, с другого — улыбался во весь рот его старший брат Асиф. И ведь можно было, наверное, догадаться, они и ростом, и сложением, ну, точно дэвы. Людей такой комплекции не бывает.

Рядом с Асифом его жена. Почти с него размером, такая же мощная.

Дальше, строго по росту, с каким-нибудь музыкальным инструментом в пухлых руках сидят дети. Не меньше десяти (потом уж Искендер пересчитал, оказалось ровно одиннадцать). Все толстые, в одинаковых красных рубахах, и видом своим, и щеками не отличить от того, кто дверь им открыл. Только что возраста разного. У девочек к каракулевым кудряшкам приспособлены розовые ленты.

Двор перед домом просторный, ухоженный, весь аккуратно выложен плиткой. Стол под висячей лампой ломится от всякой печеной снеди, фруктов, орехов, все целыми горками навалено на блюда. Сорок человек накормить можно! Рядом медный самовар дымит.

- K столу садитесь! громыхает, как труба, Асиф. Ешьте, пейте, не стесняйтесь! Наш день сегодня...!
 - Время Дэвов! хихикнул мишоппа и стал Искендера к столу подталкивать.
 - А ну-ка...! скомандовал Асиф.

Поправил он аккордеон на огромном брюхе, голову бритую наклонил ближе к инструменту, замер на секунду, а потом стал толстыми, как сардельки, пальцами клавиши перебирать. Тут же следом жена щеки надула, того и гляди лопнут, в зурну задудела, за ней золотозубый Васиф в нагара забарабанил, и пошло-поехало! И хоть каждый играл свое и невпопад, выходило весело. Только громко уж очень. Того и гляди, оглохнешь.

И пока они самозабвенно дудели, гремели, аккордеон тискали и барабанили, мишоппа и себе, и Искендеру крепкого чаю из самовара налил и принялся уплетать за обе щеки все, до чего его короткие руки дотягивались. А если не дотягивался до чего-нибудь вкусненького, так с места вскакивал и вокруг стола кругами бегал, еду себе в тарелку набирал. Искендеру даже неудобно стало. Все-таки в гостях себя так не ведут. Подумают еще, что дома не кормят. С другой стороны, поди знай, как это у дэвов принято. Долго дэвы играли. Одну мелодию закончили, вторую начали. За ней третью. За это время Абабиль так наелся, что уже не только уши, лицо красными пятнами пошло. «Сколько же в него влезло, — с тревогой поглядывая на него, думал Искендер, — как бы не лопнул». Это вон в бочонки в красных рубахах немерено еды натолкать можно, а мишоппа, вроде, маленький совсем, плюгавый, куда ему столько. Но ест, остановиться не может, все подряд в рот тащит: виноград, пахлаву, чернослив, белый сыр, орехи. Перемалывает все, как мышь, быстро-быстро, в такт только усы и кончики ушей дергаются. Глаза уже кровью налились, блестят от жадности.

– Абабиль! – не выдержал Искендер, пихнул его локтем. – Лопнешь, не надо...! Тут мишоппа вдруг как очнулся. Жевать перестал, голову над тарелкой поднял: на лбу испарина выступила, видно, плохо ему. Что во рту было, с трудом проглотил, кадык кверху поднялся, рыгнул громко, на спинку стула откинулся.

- Что ж ты... проклятый... раньше не остановил... отдуваясь, сказал он и шапочкой пот со лба смахнул. – Еще немного...и-и-к! (икнул он) ...как пузырь... и-и-к!
 - Откуда же я знал!
 - ...лопнул бы... кишки по двору раскидал. Ой... худо мне... мед подай...
 - Опять есть будешь?!
- Мед нужен... глаза у Абабиля из орбит выпучились, как у лягушки в колодце, ...быстро...
 - Да зачем тебе еще мед?!
 - Неси...! с трудом выдохнул Абабиль.

Искендер вскочил с места, вокруг стола обежал, нашел миску с медом и бросился обратно к мишоппе. Тот миску у него сразу выхватил, голову назад запрокинул и стал лить мед прямо себе в рот. Искендеру страшно стало. Может, мишоппа от еды умом тронулся, попытался он даже из рук у него миску выхватить, но Абабиль в нее намертво вцепился. Только когда наполовину мед в себя влил, успокоился, обмяк, с лица краснота стала постепенно сходить.

- Фу! сказал, причмокивая липкими губами, успели!
- Чего успели?
- Так еда обратно изнутри поперла...! Думал, все обратно вывалится...! А так вовремя медом глотку запечатали. Теперь не убежит. Вот был бы позор, столько продуктов зря извести...! А так, хорошо... и-и-к! Осядет помаленьку. Завтра с утра еще столько же съесть смогу...

Расстегнул он куртку, поглядел на свое выступившее пузо. Впору с дэвамидетьми мериться, у кого больше. Крякнул мишоппа, хотел со стула подняться, но так обратно на место и плюхнулся без сил.

– Эх, – сказал он, хлопая в ладоши в такт музыке, – жалко, ноги не держат, последние сто граммов лишние были, а то бы сплясал сейчас под этот тарарам! Как это они проклятые сами от него не глохнут?

Искендер прыснул со смеху, но так, чтобы для хозяев незаметно. Неудобно, все-таки.

Асиф аккордеон свой вдруг на землю опустил, лапу поднял и рыкнул:

– Пора уже!

Тотчас музыка смолкла, раскрасневшиеся дэвы с мест повыскакивали и, расталкивая друг друга, бросились в дом. Уж насколько входные двери были широкие, но и то затор образовался. Во дворе одни старшие остались сидеть.

– Ты тоже помогай, раз уж пришел! – подмигнул Асиф Искендеру. Искендер вопросительно глянул на мишоппу.

– Давай, давай...!

Искендер неуверенно поднялся и к дому пошел. А оттуда младшие дэвы уже тащили кто во что горазд: стул, табурет, ковер, — и все в одну кучу сбрасывали. И не жалко им! Видно же, что мебель хорошая, добротная, но они как с ума посходили. Тащат, смеются, трое бочонков диван волокут, диван огромный, не всякому грузчику под силу. Искендер опасливо в дом зашел, из просторной прихожей на шум в гостевую комнату попал. Что здесь творится! Дети в красных рубахах даже занавески с окон срывают, хватают все, что под руку попадается. Комната уже почти пустая. Ну и он подушку какую-то нашел, с ней и вышел.

Куча из мебели выросла огромная. Вокруг нее Васиф золотозубый ходил, собирал все покомпактнее, ногами приминал, чтобы она в высоту, а не в ширину расползалась.

- Хватит? глядя на все это, спросил старший брат и одним глотком в себя чай опрокинул из армуды. А этот армуды у него в пальцах, ну, точно наперсток. В него-то, пожалуй, и самовар целый влить мало будет.
 - Хватит! эхом ответил золотозубый. Голос у него, как из колодца.
 - Тогда пора! сказал Асиф. Звезды хорошие.

Младшие дэвы бросились к куче, старшие за ними, встали кругом. Избавившись от подушки, Искендер вернулся обратно к столу.

– Чего это они? – спросил он шепотом Абабиля, который хоть и не ел уже ничего, но жадные глаза от еды не отрывал.

Т-с-с-с... празднуют.

Дэвы вокруг кучи замерли, тихо во дворе стало. Слышно было, как деревья вдоль ограды голыми сучьями поскрипывают. Где-то там вроде дома, улицы, машины, люди, но во дворе этом будто и не в городе находишься. Может, потому, что ограда такая высокая.

– Готовность номер один! – пробасил Асиф, а потом как заорет: – Оп-па...!

И тут все семейство принялось вдруг шумно сморкаться на кучу мебели! Перегнулись пополам, кто одну ноздрю пальцем зажмет, кто еще и уши заткнет, да еще с каким-то хрюканьем. Громче всех, конечно, старшие, особенно Васиф, трубит просто, как слон в Индии. Ну и остальные не очень от него отстают. Сморкались, сморкались, пока Искендер растерянно на них глаза пучил. А Абабиль посмеивался:

– Смотри, что сейчас будет! Вот, вот, идет уже!

И вправду: первым у старшего брата получилось – из ноздрей, как из газовой горелки, синим огнем полыхнуло! Он на радостях закричал, дети следом завопили. Потом у кого-то еще вышло, и началось. Вначале огонь у них выходил слабенький: маленький язычок из ноздрей выглянет, пошипит и быстро погаснет. Но постепенно все сильнее и дольше. А когда у золотозубого Васифа сработало – целый столп пламени сразу! – занавеска в куче занялась, задымила!

- Ур-р-а! вскочил с места мишоппа и вверх шапочку свою подбросил. Нут-ряной огонь добыли...!
- Ура! закричал Искендер, тоже обрадовавшись. Только теперь дошло до него, чем там дэвы занимались.
- Гора Демавенд рулит...! Эй! Эй! все еще пьяный от еды орал мишоппа, по-качиваясь на нетвердых ногах.
- Оп-па! рыкнул огнем Асиф, руки вширь раскинул и, сморкаясь пламенем, пошел, притоптывая в пляс вокруг разгорающегося костра. Семейство за ним двинулось. В такт то одной ногой, то другой топают, будто землю совсем растрясти хотят, песню затянули басисто:

Мы как горы, мы как скалы, В брюхе плавим мы металлы! Хоп, хоп, хоппа-ла! Демавенд проснулся вновь, Закипает в жилах кровь! Хоп, хоп, хоппа-ла! Для священного костра Пламя рвется из нутра! Хоп, хоп, хоп, хоппа-ла!

И чем сильнее их топот, тем больше огня из них прет. Уже не только из ноздрей, изо ртов полыхает, кто-то из младших — ну, просто безобразие! — красную рубаху задрал, штаны приспустил, к костру спиной повернулся и из зада такую струю огня дал, что диван в куче, как свеча, загорелся. Дэвы хохочут, вокруг костра побежали, топают, сморкаются, плюются, оранжевое пламя в широкие завитушки скручивается, в небо рвется, гудит, младшие безобразничают как могут, из мягких частей уже и друг в друга палят, не стесняясь, старшие им на ходу затрещины отвешивают, за уши таскают — за волосы не ухватить, попробуй, справься с их кудряшками. Дым, копоть, у кого рубаха занялась, у кого ленты на макушках. Искендер за живот держится, хохочет, глядя на все это.

– Эх, как бы пожар не устроили...! – ворчит мишоппа. – Завязывали бы уже топать, неуемные! Догадываешься, чего это они все время топают...? Жилу подземную трясут! Как бы извержения какого-нибудь не случилось...

Костер, конечно, получился высший класс! Но горел как-то аккуратно, не расползаясь, больше в высоту. Да и Асиф с Васифом хоть как будто и плясали бездумно, а за огнем присматривали. Если что-то, обгорев, валилось по сторонам, обратно в костер ногами зашвыривали. Долго дэвы танцевали. Кто им что скажет? Огненный Вторник – их день. Уже и смотреть на них наскучило. Когда вся мебель почти выгорела, принялись они через оранжевые угли прыгать, поодиночке и парами, а то и по трое, взявшись за руки. Между тем мишоппа стал опять исподтишка к печеному тянуться, пришлось Искендеру за ним присматривать, чтобы опять не объелся до беспамятства.

Устали они, наконец, плясать и прыгать, да и костер, считай, догорел. Угли одни остались от всей мебели: красивые, как драгоценные камни. Ринулись дэвы к столу. Лица в саже, у детей от красных рубах одни дымящиеся лохмотья остались, ленты у девочек все в огонь попадали, теперь их от братьев никак не отличить. Лица такие же круглые, кудряшки такие же каракулевые. Набросились дэвы на еду, за обе щеки печеное с орехами заталкивают, хрумкают, чавкают, за несколько минут со стола все подмели, вазочки с вареньем вылизали — мыть после них не надо. Еды было, вроде, столько, что свадьбу впору собирать человек на сто, ничего не осталось. Одни крошки. Самовар три раза по новой наполняли.

- Мне бы их желудок... грустно вздохнул мишоппа, оглядывая пустые блюда.
- Ну... сказал в этот момент через весь стол Асиф, глядя на Искендера. Как такси, на ходу?
- На ходу! кивнул Искендер, смущаясь тем, что все семейство смотрит на него, вывернув головы, сколько щеки позволяют.
- Эх! тяжело вздохнул Асиф, перекидывая в толстых пальцах четки, и поскреб волосатую грудь, торчащую из дыры в обгорелой рубахе. Знаю я все про ваши дела...
 - С другого конца стола золотозубый Васиф Искендеру ободряюще улыбнулся.
- Ладно, ты не бойся, поможем по-соседски. А ну, Абабиль, покажи, чего там принес, пока огонь совсем не догорел!

Мишоппа выскочил из-за стола и бросился к Асифу, доставая из-за пазухи стеклянный пузырек. Взяв пузырек в руки, дэв стал разглядывать его на свет. Затем, почмокав лиловыми губами, вскинул бровь и снова на Искендера уставился:

- Правда, что ты в колодец полез?
- Правда! ответил Искендер гордо. Круглолицые дэвы, как по команде, все опять обернулись к нему с открытыми ртами и одобрительно закивали головами, будто китайские болванчики.
 - И жабу видел?
 - Чуть не сожрала.

Асиф опять почмокал губами.

– Молодец! – сказал он. – Не испугался.

Стоявший за спиной у него мишоппа суетливо замахал руками:

- Да он ничего не боится, брат-дэв!
- A чего же больше не набрали? Это молоко такое, что в хозяйстве всегда сгодится...
 - Так, брат-дэв, пока туда, пока сюда... В следующий раз...
- Ты погоди! строго осек его Асиф. Где дэвы говорят, мишоппа молчать должен. Твое дело древесное.

Мишоппа замолчал и отступил назад, стреляя исподлобья глазами. Асиф помолчал немного, продолжая разглядывать пузырек, затем кивнул брату:

– Давай!

Золотозубый Васиф снова расплылся в улыбке. Своей огромной пятерней он стал тщательно сгребать со скатерти крошки и, набрав их целую кучу, поднялся и пошел к мерцающим углям, шаркая тапочками по плитке. Младшие дэвы повскакивали, было, с места, но мать их прикрикнула на них, и все снова вернулись за стол. Самые младшие забрались с ногами на стулья и тянули круглые головы, чтобы лучше видеть, что делается у остатков костра. Тем временем Васиф, присев на колено, стал высыпать крошками дорожку от углей к столу. Покончив с этим, сходил он к навесу справа от дома, под которым был припаркован черный микроавтобус, и вернулся оттуда с поленом. Между прочим, навес хоть был и вровень с первым этажом дома, заходя под него, пришлось Васифу наклонить голову, такой он был высокий! Положил полено на угли, задышал на него огнем изо рта, пока оно с треском не занялось, а уж потом отошел в сторону.

– T-c-c-c! Чтоб ни звука...! – прошептал Асиф, глядя на детей. Все замерли. Полено горело, темнея в веселых языках пламени. Охватив его со всех сторон, огонь постепенно вытягивался в высокий аккуратный лепесток, отблески которого золотили стены дома, ограду, голые гранатовые деревья. Искендер стоял, не шелохнувшись, возле своего стула, когда в огненном лепестке стал медленно проступать силуэт чудесной птицы: сначала показалась лебединая шея с аккуратной головкой, украшенной вверху чем-то вроде короны. Глаза у нее были крупные, клюв маленький, напоминала она в профиль чем-то голубку, только больше, изящнее, царственнее. А потом показалась и широкая грудка. Покачиваясь вместе с лепестком огня, птица вытянула из пламени прозрачную голову, будто трехмерная компьютерная проекция, клюнула крошку на земле, и стало видно, как, вспыхнув желтым огнем, крошка провалилась в ее прозрачное тело. Клюнула она другую крошку, потянувшись за третьей, выступила лапкой из пламени, тут оглушительно лопнуло полено у нее за спиной, сноп искр фейерверком выстрелил в небо, чудесная птица, сатанея от жадности, не отрываясь, склевывала крошки, следуя за ними к столу. И чем дальше она отходила от костра, тем быстрее ее тело теряло прозрачность, и сама она как-то уменьшалась в размере, изменялась. Когда была она уже на половине пути, выскочил из укрытия Васиф, накрыл ее своей огромной лапой и поднялся, довольный, щерясь во весь свой золотозубый рот. В руках у него испуганно кудахтала огненно-рыжая несушка.

- Ура! завопил мишоппа.
- Ура! завопили дети, бросаясь к Васифу. Но тот курицу им трогать не давал, держал двумя руками у груди, пальцем голову поглаживал, успокаивал, уворачиваясь от толстых детей.
- Есть Симург! приплясывал мишоппа. А ты говорил не бывает...! Жадность, брат, и Симурга губит!
- Давай ее сюда! скомандовал Асиф, а потом рявкнул на детей. А ну, не трогайте птицу! Она сейчас вся перепуганная...

Васиф к брату подошел, курицу на стол поставил, но, чтоб не убежала, рукой придерживал, а та, заметив на скатерти крошку, шею вытянула и ее склюнула. Асиф птицу оглядел, крыло ей одно оттопырил, покачал недовольно головой, языком поцокал:

- Ты посмотри, что творится! Все испортилось! Раньше Симурги килограммов на двенадцать попадались, а в хороший год и на четырнадцать можно было вытащить! С жирком. Крылья расправит света не видно.
- Да! кивнула его жена, насыпая перед птицей крошек. Точно! А какое перо было! Таким пером подушки набивали. Одно удовольствие. Это тебе не дешевый поролон.
- Мелочь какая, вздохнул Асиф, глядя на жену. Перед людьми неудобно, на суп и то не хватит.
- Это смотря, с чем суп варить! Если с вермишелью и макаронами отлично наесться можно! подскочил к расстроенному Асифу мишоппа. Да что ты, брат-дэв! Куда нам большую! Нам и эта в самый раз!
- О чем ты говоришь, Абабиль! Раньше они другие совсем были! Выйдет из огня красавица огромная, красная, с короной на голове, шея длинная, как положено... Ни с каким лебедем не сравнится. А эта что? Тьфу!
 - Может, крошек больше надо было? спросила жена.
 - Причем тут крошки! Народ обмельчал, а с ним и симурги! То ли дело раньше...
- Так раньше и дэвы овощами не торговали, хитро улыбаясь, вставил мишоппа...

Ушли они от дэвов вскоре после этого. Посидели еще полчаса для приличия, слушая, как Асиф про старые времена вспоминает, и пошли. Когда у ворот уже за симург благодарили и прощались, Асиф Искендера в сторону отвел и сказал, пристально глядя глаза в глаза:

- Что здесь было, никогда и никому не рассказывай! За тебя мишоппа поручился, имя свое в залог оставил! У нас с этим строго.
 - Кому я расскажу? Все равно никто не поверит...! весело ответил Искендер.
 - Мое дело предупредить. Кормите птицу побольше, может, еще вырастет....

Курицу посадили в коробку. Накидали ей туда хлебных корок, и всю дорогу до школьного двора она без устали их расклевывала. Мишоппа был весел, прикалывался над дикостью дэвов, над тем, как они вокруг костра плясали, но, как только впереди замаячил Карагач, спрятанный позади школы, вдруг почему-то разволновался.

- Что-то не так! сказал он, остановившись и подозрительно оглядывая темный силуэт дерева впереди. Чувствует мое сердце!
 - Что не так?
 - Не задавай дурацких вопросов. Откуда я знаю! Просто чувствую, и все.

Сорвавшись с места, пошел он быстрым шагом, потом и вовсе пустился бежать. А Искендер за ним, едва поспевая из-за коробки в руках, в которой симург от тряски раскудахтался.

- Ай-ай-ай! Так и знал ведь! причитал мишоппа.
- Да что там такое?
- Неужели не видишь?! Пепел на мою голову...! Связался с тобой...

Они были уже в нескольких метрах от Карагача, но Искендер по-прежнему ничего особенного не замечал, а мишоппа стащил с себя на бегу куртку, бросил ее на землю и побежал еще быстрее.

- Куртку захвати! крикнул он, не оборачиваясь. Пришлось Искендеру остановиться и подобрать ее. Куртка оказалась тяжелой и почему-то, помимо всего прочего, сильно пахла корицей и сдобой. Домчавшись до Карагача, Абабиль, словно обезьяна, вскарабкался на него и, продолжая причитать, стал отчаянно трясти ветки над головой и хлопать по ним. Сожрут все, сволочи такие...! Ах, ты, гадость какая...!
- Что там? запыхавшись, Искендер опустил коробку на землю, скинул с плеча куртку мишоппы. Гусеницы, что ли?
 - Они, проклятые! Со всех сторон... Сколько их тут...!
 - Да как же ты увидел издалека?
- А молоко из колодца для чего? фыркнул мишоппа, скидывая с веток гусениц. Сыпались они целыми выводками на землю, а из-за того, что в темноте их не видно, казалось, будто крупный дождь барабанит. Несколько штук хлопнулись на бейсболку Искендера. В глаза по две капли с утра, и лучше любого телескопа видеть будешь...
- Как же ты ... Не смей трогать молоко! похолодел Искендер. Это для хлебца!
- Там на целый магазин хватит... свесился вверх ногами с ветки Абабиль. И не стыдно тебе, скажи? Десять капель бедному мишоппе пожалел!
 - Так ты еще и дэвам целую бутылку дал!
- Какая бутылка! Пятьдесят граммов всего им отлил. Бутылка им жирно будет. А как же ты хотел, братец... сделав какое-то мудреное сальто, мишоппа уселся на ветку и принялся болтать в воздухе ногами. Никто за просто так делать ничего не станет. Не положено. Что дэв, что хортдан, что самый никчемный мишоппа...Такие правила. Правила не я писал. Их еще до того, как колодец выкопали, умные головы сочинили. Ты сам подумай, какой нам резон вам просто так помогать?

Недобро сверкнув в темноте глазами, мишоппа ухватился за ветку над головой и полез куда-то вверх.

– Сколько же их тут, проклятых...! Куртку подними, вся еда попортится...

Подхватив с земли куртку, Искендер подозрительно заглянул в ее карманы: сразу стало ясно, отчего это она пахнет корицей – все карманы, даже на рукавах, были под завязку набиты печеным и сладостями со стола дэвов.

- Все-таки стащил! рассмеялся Искендер.
- А как же! Нечего им обжираться, когда бедный мишоппа с голоду пропадает. Рожи видал какие отъели? В окно не помещаются... Ты, братец, не стой без дела, гусениц собирай и симургу в коробку бросай, пусть протеин получает.
- Слушай, сказал задумчиво Искендер, это правда, что ты дэвам имя свое под залог оставил?
 - Оставил, донеслось из кроны Карагача. По-другому не соглашались.
 - И что будет, если... ну, вдруг... проговорюсь?

Абабиль долго не отвечал, только было слышно, как он, перебираясь с ветки на ветку, стряхивает вниз гусениц. Наконец, он высунул голову из-за широких листьев и сказал очень серьезно:

– Плохо тогда будет, брат. Очень. Останусь я без имени. А безымянный мишоппа, как безродная собака, каждый обидеть может. В приличном обществе не покажешься. Будут гнать отовсюду. И дерева могут лишить. Придет какой-нибудь засранец с именем, предъявит тебе в письменной форме бумажку, двумя свидетелями обязательно подписанную, что дерево тебе уже не принадлежит, и все! Бумагу тогда в карман, собирай барахло и в двадцать четыре часа освобождай Карагач! Ищи себе новый. А где ты их теперь сыщешь? После такого даже у родственника угол не

снимешь, какой придурок тебе угол сдаст, когда у тебя вместо имени одно пустое место! Становишься ты тогда, брат, по-нашему, — недоговороспособным. Бомж, короче. Даже хуже, бомжа-то хоть звать как-то, а тебя нет.

- Ты не бойся, Абабиль, я никогда не скажу! стал его горячо заверять Искендер. Даже если резать будут! Убивать...! Никому не скажу! Клянусь!
- Да что ты так разволновался! Говори, кому хочешь, пусть подавятся! У меня этих имен, знаешь, сколько...? Целых девяносто девять! Одним больше, одним меньше! Родитель покойный предусмотрительный оказался. А имя Абабиль, между прочим, мне никогда не нравилось. Не звучит. Уж лучше Кухейль. И звучно, и модно...

Глава двенадцатая

Третий Вторник (Ветер)

И потянулась еще одна неделя. И даже медленнее, чем прошлые две. Прямо, как резина. Полдела уже, считай, сделано, а снова приходится ждать. Только бы добраться до четвертого вторника, хлебец испечь... Тут уж, сами понимаете, совсем не до школы. Какие там занятия, голова только одним занята. Мама почти прозрачная стала, кожа на руках словно бумага, каждую вену на свет разглядеть можно. Про докторов, про лечение уже и не говорят, вздыхают, шепчутся. Одна беспокойная Марьямханым не сдается, подбадривает, как может, каждый день разносолы им носит. Кому их есть, спрашивается? Перед Искендером тарелку наложит, стоит над душой, чтобы все до крошки проглотил, про дела его расспрашивает, шутит, сама смеется, а потом вдруг шепотом гадалку проклинать начинает, да так яростно, с такой злобой, что очки на носу запотевают. После спохватится, с тревогой по сторонам оглянется, нет ли где лишних ушей. У самой глаза за очками нервно моргать начинают. А паук тут как тут, все время где-то рядом крутится. То над плитой покажется, то в ванной из раковины выглянет, то по люстре проскользнет. Покажется и исчезнет. Долго на виду не задерживается. Сколько раз Искендер его пришибить пытался. Хитрый арахнид! Всеми восемью глазами по сторонам глядит, все время начеку. Только подберешься к нему, замахнешься, а он скользнет по нити и в дыру какую-нибудь забьется. И что с того, что Марьям-ханым не велит его трогать, сказала: прибьешь, только хуже будет. Но куда уже хуже, скажите мне? После колодца, нюхача и жабы Искендер ничего уже не боится, злость в нем одна осталась. Если бы делу помогло, он и гадалку бы, наверное, прибил, глазом не моргнул. Но если мишоппе верить, пользы от этого никакой. Заклятье это не снимет, наоборот, оно только крепче станет и еще, вдобавок ко всему, по его словам, «расползаться начнет так, что полмикрорайона накроет». Поди пойми, что это значит... Зато стоит Искендеру мимо ее двери пройти, тотчас откуда-то кошка берется и прямо ему под ноги кидается. Черная, как уголь. Издали смотришь, вроде нет ее, но только приблизишься, она из какой-нибудь тени выскакивает. Иногда сразу две, прямо под кроссовки лезут, шипят, того и гляди с лестницы скатишься. А в один из дней встретила она его опять у калитки в огород. Лицо белое, глаза злые, бешеные, улыбнулась ему нарисованными губами, спросила, вроде, ласково: «Как Джамиля, Искендер? Все соседи за нее переживают. Скоро ли на ноги встанет?», но в голосе насмешка. И двойняшки за оградой противно хихикают. Знают же прекрасно, что Джамилю в день по два раза от боли лекарствами колют, после которых она как неживая делается. Искендер только зубами скрипнул, голову опустил и мимо прошел.

Страшнее всего по ночам. С того сна все и началось. С кошкой. Теперь в одно и то же время, в половине второго (по электронному будильнику на столе сверяться можно), просыпается он оттого, что в комнате с ним есть кто-то еще. Откроет глаза, лежит, взглядом темноту ощупывает. Вроде никого нет, а чувствуешь, что есть. То по-

ловица скрипнет, то тетрадка с края стола на пол слетит, то дверь шифоньера чуть приоткроется и как будто по вещам кто-то шарит, а то непонятная тень по стене скользнет. Скользнет и затаится в углу. Дышит, только очень тихо, почти неслышно. Вскочишь с места, включишь свет, в углу никого нет, только темное пятно от чужого присутствия осталось. И пока пятно не сойдет, стена в том месте, как ледяная, пальцы обжигает.

Кое-как дотянул Искендер до субботы. Опять немного беспокоиться начал. От мишоппы за всю неделю ни слуха. И вообще, если не считать нюхачей, которые за ним по пятам ходят, дни проходят одинаково и скучно. А к нюхачам он уже привык. Раньше один Лятиф таскался, теперь у него напарник нарисовался. После школы выйдешь – стоят вместе около девятиэтажки. Длинный Лятиф в шарф кутается и стоит неподвижно, а энергичный толстячок все время приплясывает на месте. Под правым глазом у него фиолетовая родинка размером с лесной орех, и нос, в отличие от ботаника, не длинный, а как картофелина. Зато взгляд у обоих одинаковый, блуждающий, будто не в себе они. Близко они не подходят, держатся на расстоянии, проводят аккуратно до дома, потом ботаник исчезает куда-то, а толстячок допоздна у подъезда крутится: то на бордюре посидит, то от подъезда к подъезду ходит, и даже когда его в окно не видно, Искендер знает точно: притаился где-то рядом, потому что стоит ему из дома выйти, толстячок тут как тут. Одна только странность с ним: Лятиф, как собака, нос задрав, ходит, воздух нюхает, а этот вроде нет, больше глазами по сторонам шныряет. Видно, какая-то новая разновидность. Не зря ведь мишоппа предупреждал, что Кебире – на гадости тетка изобретательная (сколько же еще таких по городу ходит, может, целая армия?).

В субботу утром послала его Марьям-ханым к дэвам в лавку.

– Сынок, – говорит, – сбегай к Асифу. Забыла купить кое-что.

Смотрит она на него, как всегда, поверх очков, но очень уж странно. С любо-пытством, что ли, словно в первый раз видит.

- Конечно, отвечает Искендер, чего купить надо?
- Чего купить...? задумалась вдруг соседка и голову как-то вбок наклонила, продолжая Искендера разглядывать. Чего это с ней, спрашивается?
- Скажи-ка, милый, сказала она, наконец, шепотом, а откуда ты Вахаба знаешь?
- Какого Вахаба? Искендер замер, только сердце так заколотилось, что самому слышно стало.
- Вахаба, родственника моего, моряка? в золотистых глазах Марьям-ханым искорки сверкнули. Искендер облизал пересохшие губы, замотал головой, хотел сказать, что не знает никакого Вахаба, но не успел, Марьям-ханым, вздохнув, еще тише сказала:
 - Ладно, все равно ведь соврешь.

А потом засуетилась, всплеснула полными руками и уже обычным своим голосом говорить стала:

– Чего же купить надо было...? Представляешь, забыла! Сюда шла, помнила, а сейчас прямо из головы выскочило! Вроде пучок укропа нужен был. Ну, да! И ведь еще что-то... а что? Совсем старая стала!

Искендер молчит, не знает, что отвечать.

- Как же теперь быть? И ведь нужная очень вещь... Дай вспомнить...
- Может, потом тогда?
- Xм! уткнула она руки в бока. Нет, сынок, мне срочно нужно было. Очень! Прямо сейчас нужно! А мы вот что сделаем...

Достала она из кармана фартука свой мобильный.

– Бери мой телефон и иди, а я к себе спущусь, из дома надиктую. Давай, давай! И на звонок сразу отвечай!

Такой вот странный разговор у них получился. Однако за эти недели Искендер много чего странного уже видел. Не сказать, что привык, но меньше стал вопросов задавать.

У квартиры гадалки опять целая толпа собралась. И двойняшки там стояли со списками своими. Как увидели его, хотели прицепиться, наморщили губы бантиком, та, что с родинкой на левой стороне, специально на дороге встала:

С наступающим...

Но он уже церемониться не стал, боднул ее головой и протиснулся мимо:

Дай дорогу!

Сестры прямо опешили на мгновенье, а уж потом затараторили ему вслед наперебой:

- Хулиган...
- ...невоспитанный!
- На него...
- ...посмотри...
- ...бессовестный!

А Искендер, пока в подъезде народ не очухался, выскочил и побежал, не оглядываясь. Плевать теперь на этих ведьм! Следом сразу толстячок с родинкой пристроился. Ему с его пузом бежать тяжело, но старается, потеет, рукавами куртки со лба испарину смахивает.

Солнце высоко висело. Двор все еще грязный после зимы, но чувствуется, чувствуется весна! Пахнет ею! Даже тросы на башенном кране за оградой как-то веселее вверх бегут.

Не успел он проскочить мимо помойки, как рядом с тем местом, где он в первый раз Карагач увидел, мобильный Марьям-ханым заверещал, завибрировал у него в кармане.

- Слышь? Жирную корову, брат, по шкуре узнаешь... услышал он в трубке знакомый голос.
 - Чего? растерянно спросил Искендер.
 - Чего «чего»? давясь от смеха, спросил Вахаб. Говорить с тобой хотят!
 - Але...?
 - Как живешь, братец...?
 - Абабиль…? Ты, что ли…?
- Да я... я...кхе-кхе... закашлялся мишоппа. Голос у него был сиплый, простуженный. Такая зараза на меня напала. Простыл совсем после этих дэвов. Умираю...

Тут мишоппа принялся безостановочно чихать, а Вахаб громко подбадривал его после каждого раза:

– Машаллах, ну-ка еще, брат, для ровного счета!

Начихав, кажется, до одиннадцати, Абабиль не выдержал:

- Да замолчи ты, наконец, проклятый! Видишь, останов... апчхи! ...иться... не могу!
 - Абабиль! крикнул Искендер
- Подожди... один мощный идет... сейчас... А-а-а... Искендер невольно трубку от уха отвел. Апчхи...! Ой, сдохну! Ничего не помогает! Пачку аспирина с хлебом съел...И Карагач мой совсем разболелся. Гусеницы до костей объели...
- Весь телефон заплевал! Ты это, брат, как говорится... только в море, сколько ни черпай, не убудет, а у меня там всего тридцать копеек на счету осталось. Закругляйся, встрял опять Вахаб.
- Да понял я! Дай поговорить нормально, семимесячный, что ли...! Искендер, в этот раз тебе самому все делать придется...
 - Почему? Я какие-нибудь лекарства достану.

— Не надо, слушай лучше. С этим делом и без меня справишься. Запоминай. — Говорил мишоппа с трудом, в горле у него все время что-то хрипело и булькало. — Следующий Вторник темный. Ветер Воду волнует, кормит Огонь, пробуждает Землю. В этот Вторник тех поминают, которые уже в земле лежат...кого уже нет с нами. Не про хортданов говорю, их поминай, не поминай — туда и обратно бегают, как приспичит... В этот Вторник за теми придут, кто в эту самую землю скоро уйти должен...!

От этих слов у Искендера мороз по коже. Сразу понял, о чем мишоппа ему говорит. Молчит, трубку изо всех сил к уху прижимает, чтобы ни одного слова не пропустить

- Поэтому вечер будет темный и страшный. Соседка твоя... Марьям... даст тебе лампу. Керосиновую. Зажги ее за пять минут до полуночи, не дай погаснуть до утра. Что бы ни случилось, не дай погаснуть! Слышишь...? Все, кто явится этой ночью, должны найти свой путь обратно. Обязательно! Туда, откуда пришли. А если погаснет лампа, будет беда, брат...
- Абабиль, снова влез моряк, контуры кончаются! Что вы, в самом деле, фраера нашли? Без связи меня оставить хотите? На одного осла двое не садятся...
- Ничего не бойся, с трудом продолжал мишоппа, не обращая на него внимания. Помни, те, кто придет, только с виду страшные, а так фуфло одно. Дешевки! Понял? Весь год под плесенью и по подвалам прячутся, ночами по переулкам шастают, как безродные. Один день в году им только и позволено рожи свои отвратительные на свет показать. Ты их совсем не бойся. Ничего они тебе не сделают. Место надежное в доме найди, спрячься и сиди там тихо. А они пошумят, попугают и уберутся с концами. Главное лампу береги, брат! Не дай задуть! Спрятаться найдешь где?
 - Абабиль...
- Найдешь! отрезал мишоппа. Ты парень сообразительный. Придумаешь. Колодца не испугался! А жаба ведь пострашнее была...Да, забыл совсем: соседка твоя, Марьям, ничего толком не знает, только лампу тебе передаст. Ничего ей не говори! Ты...
 - Контуры...! завопил Вахаб, и тут из трубки послышались отбойные гудки.

Убрал Искендер телефон в карман, оглянулся: над краем мусорного бака, за которым прятался толстячок с родинкой, торчали его выставленное вверх красное ухо и крытая кепкой макушка. «Может, этот еще и слухач...?» – рассеянно подумал Искендер, заново прокручивая в голове все сказанное мишоппой.

Долго Марьям-ханым к двери шла. Только с четвертого звонка открыла, молча впустила в коридор, а сама на кухню вышла. Искендер, конечно, сразу к зеркалу подскочил, стал раму разглядывать: люди, животные, повозки из темных завитушек выглядывают, всех не упомнишь. Кто-то вон осла за узду тянет, на арбе с мешками женщина сидит, трактор какой-то, мужичок в кудрявой папахе на ходулях через ручей переходит, над треугольной крышей дым клубится, щекастый мальчик на птице летит, снизу мужчины головы задрали, на него смотрят, а на плечах у них вроде похоронные носилки. Много еще чего есть разного. Фигурки мелкие, вглядываться надо, вот только там, где раньше человечек с хитрым прищуром из-за ветвей дерева выглядывал, — одно пустое место. Гладкое, только пониже кучка сухих листьев осталась! А ведь был там человечек. И дерево было. На этот раз точно не мог он перепутать!

Вернулась из кухни Марьям-ханым с керосиновой лампой. Хоть и старой, но красивой. Протянула ее Искендеру.

- Держи вот. Просили тебе передать. Керосином заправила до краев. На всю ночь хватит. Как зажигать, знаешь? Плафон снимешь, стала она показывать, вот тут подкрутишь, только немного, чтобы фитиль вылез, подожжешь, а когда займется, плафон на место поставишь. Несложно.
 - Спасибо! кивнул Искендер. У бабушки похожая была. Пойду я...

 Подожди, – остановила его соседка, – слушай, что скажу. Зачем тебе лампа, и спрашивать не буду...

Помолчала она немного, будто раздумывая, что сказать, а потом наклонилась к Искендеру очень близко, глазами своими странного цвета прямо на него уставилась:

– Не знаю, сынок, что вы там задумали, но если станет совсем уж страшно, ты... в грудь воздуха набери, сколько можешь, подержи и выдохни! Прямо изо всех сил дуй! Понял...? Мать моя меня так учила.

Последние два дня пролетели быстро. Лучше, чем первые пять. Лампу он в шифоньер убрал, поглубже. Там же и спрятаться решил после полуночи, когда «гости» нагрянут. Другого места в его комнате нет. Можно под кровать, но как там с лампой поместиться? Еще матрас подпалит. Стащил Искендер у отца зажигалку. На всякий случай с кухни еще коробок спичек взял. Короче, подготовился. Конечно, у себя дома – это тебе не в заброшенный колодец спускаться, но все равно жутко. Там хоть мишоппа рядом был, подсказывал, что делать, а тут... Мало ли кто явится ночью? Вдруг еще страшнее рептилии. Да и сколько их будет? Хорошо, что скоро каникулы начнутся. Надоело в школу с нюхачами за спиной ходить. Лятиф, правда, все реже появляется, а толстячок с родинкой на боевом посту каждый день. И каждый вечер. Когда же это он отдыхает? Или нюхачам отдых не нужен? И сейчас там стоит, глазами в окно уперся, семечки грызет и приплясывает. Зря, конечно, он башмак Афлатуна выкинул. С ним бы поспокойнее было.

Вечером на вторник зажгли свечи после ужина. Стали телевизор смотреть. Мама на диване прилегла, улыбается Искендеру, но невесело совсем.

- Волосы у тебя уже немного отросли... ерошит она ему голову. Какой красивый ты у меня. Девочки по тебе будут сохнуть... Выберешь самую хорошую...
- Сама ему выберешь, обрывает ее отец, но, кажется, и сам своим словам уже не верит. Да и как верить, когда смерть по квартире в открытую ходит. Не стесняется больше, не прячется за шторами, не таится. В каждом зеркале за спиной отражается, из каждой тени скалится. Разбудила ее проклятая ведьма раньше времени, попробуй теперь, выгони ее из дома.

Свечи на подносе горели ровно, фитильки желтые, аккуратные, вокруг горками сухофрукты, орехи, всякие печеные сладости навалены (спасибо Марьям-ханым!), по телевизору счастливые женщины пляшут, а у Искендера от страха перед ночью сердце сжимается.

- На кладбище так и не выбрались. Нехорошо, сказала мама, присаживаясь к столу.
 - Ничего, в следующий раз пойдем, отвечает отец, прихлебывая чай.
 - А нужно было сегодня. Будет ли следующий раз...
- Да хватит тебе уже! Сколько можно...! Что вчера доктор сказал? Все идет, как надо...
- Не злись... мама вдруг наклонилась и провела пальцами по фитилькам свечей: пальцы ее в огне стали похожи на восковые, того и гляди растают.
 - Не обжигает, улыбнулась она Искендеру. Сам попробуй.
 - Он за ней повторил, руку сквозь огонь провел.
 - Не обжигает.

Выбрала она с подноса несколько ягод ийде:

Когда была маленькая, насаживала их на спички и жарила на свече.

Искендер ийде терпеть не может. Ну что это, спрашивается, за ерунда такая: кожица глянцевая, будто пластмассовая, а укусишь, как мука внутри, весь рот вязнет, только косточка приятная, мягкая. Но до нее еще добраться надо. Но сбегал Искендер на кухню, принес коробок спичек, стал ийде на спичку, как шашлык, нанизывать и держать над огнем. Обгорая, кожица чернеть начала, затрещала, задымила.

- Пожар устроите, проворчал отец.
- Пойду лягу, голова кружится...
- Помоги матери.
- Ничего, не надо. Я сама. Опираясь на край стола, она с трудом поднялась, сутулясь по-старушечьи, пошла медленно в спальню, обернулась на пороге: Только свечи сегодня не гасите. Пусть сами догорят.

Отец только головой покачал.

Остались они с ним вдвоем сидеть перед телевизором. Звук убавили. Сидят молча. О чем говорить? Отец только иногда тихонько на кухню выходит, покурить в форточку или чай себе налить. Вечер за окном тихий. Петарды почти отстреляли, во дворах костры догорают. По телевизору все пляшут и поют. Понятное дело, работа у них такая, народ веселить. Отец пультом щелкает, с одного канала на другой, зевает. Свечи на подносе оплывают. Обгоревшее ийде на блюдечке лежит. Попробовал Искендер его на вкус – еще хуже стало. Раньше, как мука была, а теперь, как кусок горького пластика.

Дотянул он кое-как до половины одиннадцатого. И ведь странное дело, с самого утра как на иголках был, ни поесть, ни попить нормально, а тут чего-то навалилась на него дрема, вслед за отцом зевать начал — сил никаких нет! Как бы челюсть не выскочила! Уже и умывался холодной водой, все равно не помогает. Видимо, свечи дрему навеяли. Ладно, пожелал он отцу спокойной ночи и к себе пошел. Ясное дело, не для того, чтобы спать ложиться. Спать сегодня совсем не получится.

Укрытие в шифоньере подготовил он заранее. Много чего пришлось под кровать убрать прямо с вешалками. Под кроватью пыльно, но что поделаешь. Приспособил еще Искендер к двери кусок бечевки, чтобы изнутри можно было закрыться, а на конце бечевки сделал широкую петлю для удобства. Электронный будильник показывает 10:41. Включил Искендер настольную лампу, устроился на кровати с ногами, прислонился спиной к холодной стене, стал ждать. Против окна угол соседского дома, где как раз на последнем этаже в спортивном костюме сладко причмокивает во сне славный Гюльхош Мамедович.

...От службы его давно уже отставили, платят пенсию по инвалидности. А какой же он инвалид, спрашивается? За последние недели щеки, как у хомяка, раздались, розовое лицо так и пышет богатырским здоровьем. Живот хороший, если вовремя не накормить, прямо во сне мычать начинает. И чем дальше, тем громче, а уж потом просто сиреной воет. Несчастная Гюльбадам-ханым с ног сбивается. Глаза все выплакала. Все теперь на ней. Как быть дальше, не знает. Уж каких только врачей ни звали! Уж какими его только иголками ни кололи. Все без пользы. Муж вроде есть, вон – целый тюлень на диване посапывает, а пользы от него никакой. Спасибо, хоть пенсию дали. И ведь еще не всякую еду ест. Если, скажем, совсем без мяса, лицо воротит, ногами сучит. Совсем распоясался – врезать может! Суп куриный, морщась, глотает. Не напасешься на него. Все время баранину требует. Вот и машину его пришлось продать, а что с ней делать? Пока эти Низами, Физули, Насими права получат, совсем всю ее во дворе исцарапают. Отпустил, кстати, Гюльхош Мамедович шикарную бороду. Ну, как отпустил? Гюльбадам-ханым ему отпустила. Просто брить перестала. Борода растет темная, окладистая, шелковистая. И вид у него с ней совсем солидный стал. На праздник нахлобучили ему на голову папаху, в полицейскую форму обрядили, правда, на животе не застегивается ничего, но этого не видно. Родственники как раз зашли Гюльбадам-ханым навестить. Поддержать, так сказать, бедную женщину. Как инвалида в папахе с бородой и в форме увидели на диване, оробели. Вид у него точно генеральский! На коня сажай и отправляй парадом командовать. Ятагана не хватает. А тут еще кто-то из сыновей – мерзавец! – больному отцу фломастером на закрытых веках глаза нарисовал. Получилось, что Гюльхош Мамедович на гостей зверем смотрит, сейчас с дивана вскочит, в клочья раздерет. Мерзавцу, конечно, попало за это, но рисунок с век так толком оттереть и не смогли. В кожу въелось. Здоровья ему, пусть себе спит дальше! Хоть вреда никому не приносит.

Отвлекся я опять! Искендер про Гюльхоша Мамедовича ничего не знает. Да и зачем ему знать.

Белые цифры на табло будильника меняются медленно. Его все больше в сон клонит, голова отяжелела. Эх, был бы у него сейчас мобильный телефон...! Или планшет, например. Пришлось книжку взять, чтобы совсем не уснуть. «Гарри Поттера» с лета никак закончить не получается. Сначала немного взбодрило как будто. Только фильм-то он уже видел, и не один раз, и что дальше будет, точно знает. Вот, говорят, будто книга всегда лучше фильма, а Искендеру наоборот казалось. Фильм за два часа пролетает, тут тебе и спецэффекты, и музыка хорошая, и понятно все. А книга... Читаешь ее день, два, пять читаешь, в именах путаешься, описания всякие ненужные, короче, не то. Вот и теперь, Искендер заметить не успел, как буквы стали слипаться в какие-то нечитаемые закорючки вроде дохлых мух в паутине, чем дальше, тем больше. Сам того не заметил, как заснул. И сразу показался ему паук в яркий солнечный день. Свисал он с ветки какого-то дерева, вроде Карагача, а вроде и нет. Пригляделся Искендер, догадался, что это они на бульваре летом, а дерево на самом деле просто куст. Рядом на скамейки отец курит. «А где мама?» – спрашивает он удивленно. Искендер озирается. «Вы же вместе за мороженым ушли», – отвечает отец. Точно, мороженое у него в руках, а ее нет. Отец начинает сердиться, вскакивает со скамейки, хватает Искендера за руку, тащит за собой. Идут они быстро по бульвару. Рядом море плещется. Волны небольшие накатываются, откатываются, рябь сверкает, а Искендер думает: «Хорошо, что в море жабы не живут! Купаться было бы невозможно...». Отец волнуется, рука у него влажная, и его волнение ему передается. Солнце неожиданно за тучу заходить стало, только что был солнечный день, а тут стемнело. Вот-вот дождь хлынет, люди мимо побежали. «Да куда же она делась?» – кричит уже отец, голос его ветер обрывает... Добежали они до площади «Азнефть», а там почему-то больница, в которую они маму возили. «Как же я это не заметил, что больница прямо на бульваре находится?» – удивился Искендер и тут уж проснулся.

Шея затекла. На часах 11:59! Одна минута до полуночи осталась, чуть не прозевал. Сунув книжку под подушку, вскочил он, было, с кровати, но дверь вдруг тихонько приоткрылась, и кто-то проскользнул в комнату. Почти не слышно. Даже половицы не скрипнули. Маленькая женщина. С головы до ног в черном келагаи. Искендер обомлел, сердце в комок сжалось. Женщина идет, как слепая, перед собой руки на весу держит, на пальцах с распухшими суставами — два кольца. Одно золотое, широкое, другое толщиной с волос. Лица ее он не видит, но кольца и походку узнал сразу. А она, на него внимания не обращая, прошла рядом, в этот момент на Искендера противной горечью дохнуло, почти как от Афлатуна запах. Бабушка Секине! Нос заострился и крючком висит, рот запал совсем, видно, без вставной челюсти хоронили, глаза белые, без зрачков, жуткие. Подошла бабушка к зеркалу на стене, деловито рукавом пыль смахнула, откуда-то у нее в руках черный платок оказался, и стала она им зеркало завешивать. На цыпочки поднялась.

 Что ты делаешь? – крикнул Искендер. – Зачем зеркало завешиваешь, у нас не умер никто!

А она опять ноль внимания, будто не слышит и не видит его совсем. Дело свое закончила, к письменному столу подошла, провод будильника из розетки выдернула, экран сразу погас, сам будильник под келагаи спрятала, пошарила в ящиках, пачку фломастеров и еще две чистые тетради умыкнула. Зачем это все ей на том свете, спрашивается?

Пока она там возилась, за окном что-то оглушительно ухнуло. Будто бомба взорвалась, дрожь по стенам пробежала, и сразу же следом откуда-то сверху налетел бе-

шеный ветер! Завыл по-звериному, навалился со свистом на новые окна в пластиковых рамах, того и гляди лопнут. По улицам мусор покатился, затрещали деревья, со столбов искры посыпались, а когда полыхнула, разрывая темноту над соседним домом, быстрая молния, лампочки в люстре накалились добела и погасли, а вместе с ними и вся улица погрузилась в кромешную темноту. Стало в комнате холодно. Понял Искендер, что именно сейчас все на самом деле и начнется. Вслепую, боясь как-нибудь в темноте не налететь на неживую бабушку, бросился он к шифоньеру, нырнул в него, изнутри закрылся. От холода зуб на зуб не попадает, руки дрожат. Взял лампу, стал шарить вокруг себя, зажигалку потерял, может, смахнул куда-то в угол, нашел спички. Чиркнул, спичка занялась, сняв плафон, поднес он ее к фитилю, но тут словно кто-то дохнул холодом в щель, и она погасла. Попробовал вторую, и опять то же самое. Скрючился Искендер тогда, как мог, навис над лампой, ладонями прикрывая от сквозняка, и в этот раз получилось. Огонь сначала ровно по фитилю в ширину разошёлся, а как плафон на место надел, вытянулся вверх веселым лепестком. Стало в шифоньере светло. И не так уже страшно как будто бы, хотя вой за окном и сюда доносится. И весь дом панельный от пятого этажа до сырого подвала гудит, как бумажный. И холодно невыносимо, изо рта пар тонкой струйкой идет! Ему хоть из шифоньера и не видно, но чувствует Искендер, как бабушка по комнате семенит, все выискивает что-то. Не выдержал он, приоткрыл дверь самую малость, щелочку только, выглянул. Не сразу разобрался. Бабушка Секине, оказывается, до одежды добралась, которую он из шифоньера вытащил. Стоит на коленях в своем келагаи, что-то из-под кровати вытащить пытается. До рубашек его добралась. В комнате уже не мрак кромешный, как было до этого, а глубокие синие сумерки, и что-то черное прямо с потолка свисает лохмотьями, будто тряпицы какие-то. Бабушка под кровать руку тянет, кряхтит, тут снова молния полыхнула, комнату словно фотографической вспышкой осветили, мертвая бабушка замерла и, оглянувшись через плечо, уставилась на Искендера вытаращенными бельмами. От страха он дверь захлопнул, изо всех сил петлю на бечевке на себя потянул. Теперь-то она его точно заметила! Что дальше? Ночной кошмар это, сейчас бы ему проснуться! Но как же ты проснешься, когда не спишь?

Что-то в окно грохнуло, послышался треск. Искендер ни жив, ни мертв, зубами то ли от холода, то ли от страха стучит. Хорошо, хоть от лампы тепло идет. Бабушка к шифоньеру метнулась, открывать его стала. Снаружи на двери ручки нет, так она в ключ в замке пальцами вцепилась и тянет на себя, ключом в замке елозит, внутрь гнилостный запах от нее сочится. Ах, ты, чтоб ее...!

– Уходи, откуда пришла! – кричит Искендер. – Оставь меня в покое...!

А она вдруг дверь так рванула, что он из шифоньера наполовину выпал, чуть лампу не разбил, удержал в правой руке кое-как. Стоит бабушка Секине над ним, страшная, иссохшая, но на него совсем не смотрит. «Вещи в шифоньере ее интересуют, – догадался Искендер, – даже после смерти не успокоится!»

– Уходи, говорю тебе...! Видишь, нет тут ничего! Пусто...! – влез он на место. Нащупал на двери бечевку, хотел дверь закрыть, когда вдруг окно со звоном лопнуло. Осколки брызгами по полу рассыпались, в комнату бешеный ветер ворвался, закружил между стенами, покрывало с кровати сдернул, люстру раскачал, сорвал с потолка. Затрещали полы бабушкиного келагаи, надулись будто крылья у нее за спиной, подняло ее вверх и в хороводе вещей и бумаг с письменного стола закрутило, словно в воронке. Летит она, кувыркается, но на ходу все равно что-то хватает, вот ведь неуемная жадность! Искендер изо всех сил дверь за веревку тянет, закрыть пытается, но ветер рвет дверь в сторону, огонь в лампе мерцает, как бы не погас! В пустое окно вороны стали залетать. Сначала по одной, потом уже целой стаей! Они-то откуда взялись? И не залетают даже, а как бы их ураганом вносит. То ли каркают, то ли кричат истошно, черными клювами щелкая и роняя перья. А в комнату еще и мусор

всякий нанесло: пакеты, пластиковые бутылки, поломанные ветки, тряпье какое-то. И все это кружится, шуршит, кричит, бьется о стены! Вместе с мусором мужичка какого-то принесло. От ветра лицо не сразу разглядишь. Мужичок полный, с трудом в окно пролез, глаза вытаращены от ужаса, ногами в воздухе беспомощно сучит, башмак с него слетел. Тьфу ты! Да это же толстячок с родинкой! Орет дико, пару раз с подлета то головой, то толстой задницей в стенку шифоньера врезался, чуть не проломил. Потом рукавом рыжего свитера за гвоздь на стене зацепился, повис, а бабушка, пролетая мимо, с ноги у него второй башмак сорвала, за пазуху сунула. Так он еще истошнее заорал, но в этом грохоте ничего уже было не расслышать.

Огонек в лампе мечется, срывается с фитиля.

Снова молния небо расколола как на две половинки. И сразу после этого ветер как будто слабеть начал, живых и мертвых, птиц и мусор потянуло обратно на улицу через окно выносить. Дверь шифоньера поддалась, наконец, с трудом ее Искендер захлопнул. Дрожит весь, дух переводит, пока вой снаружи постепенно затихает.

А потом наступила тишина. Такая, что ни единого звука, ни единого шороха. Словно в уши вату натолкали. Даже дыхания своего почти не слышно. Искендер на всякий случай в ушах поковырял для проверки. Неужели закончилось все? Но нельзя пока выходить. До утра далеко. Мало ли кто еще заявится! Решил он в шифоньере сидеть, пусть хоть весь дом рухнет. Дышит белым паром, руки вокруг горячего плафона греет.

Сколько он так сидел — неизвестно. Хотя и холодно было ужасно, даже носом клевать начал. Правда, как только глаза прикроет, сразу лицо бабушки возникает или распахнутые вороньи клювы, и сон улетучивается сам собой. Фитилёк в лампе ровно горит, без треска, без запаха. Если бы только не холод... Подумал Искендер, не выскочить ли ему на одну секундочку, схватить одеяло и обратно нырнуть. Снаружи все так же тихо. Ни единого шороха. Значит, нет никого. Но только он так подумал, послышались ему шаги. Искендер затаился. Шаги были медленные, тяжелые. Под ногами битое стекло хрустело, половицы жалобно скрипели. Кто-то большой ступал всей стопой от пятки до носка, уверенно. Прошел мимо шифоньера, Искендер в щелочку посмотрел, но темнота такая, что не разглядеть ничего. Словно закопали его под землю. Ни единого светлого пятнышка, сплошной мрак. Кто-то до конца комнаты дошел, постоял немного у двери и обратно двинулся. И пока он шел, у Искендера сердце так колотилось, что чуть изо рта не выскочило. Пришлось ему себе рот ладонью зажать, чтобы дыхание не выдало. Неизвестный у шифоньера встал. Стекло у него под ногами раскрошилось.

- Где ты...? Покажись... прошелестело словно ветер. Совсем на человеческий голос не похож. Искендер сидел, не двигаясь, застыл, как статуя, глядя на лепесток огня в лампе. И опять:
- Искендер...Помнишь меня? Под землей встречались... От гульябаны не спрячешься...

Что-то тут качнулось у него над головой: места в шифоньере так мало, что любое движение чувствуешь. Поднял Искендер глаза, увидел, что прямо перед ним огромный паук с нити свешивается. Во всех его выпуклых глазах, как в черных зеркалах, Искендера лицо и керосиновый огонек лампы отражается. Паук передними лапками сучит, видно, потирает их на радостях, качнулся он на паутине разок, качнулся другой и прямо на нос Искендеру запрыгнул.

– Покажись... – шелестит снаружи гульябаны. Паук с носа на глаз переполз, но Искендер не двигался, терпел изо всех сил, только жмурился, пока мерзкая гадина по нему ползала. Паук чуть вниз спустился, к нижнему веку, уселся, растопырив мохнатые лапы, и вдруг впился в кожу своими клешнями, Искендер от боли дернулся, локтем в перегородку шифоньера ударился, выдал себя, короче говоря. Тот, кто был снаружи, рванул на себя дверь, бечевка с петелькой в руке у Искендера осталась.

Тот самый мужчина из метро! Только ростом он теперь до самого потолка. Сутулится, чтобы головой не треснуться. Тень от него словно трещина через всю комнату тянется. И хоть роста он стал огромного, но такой же худой, как жердь. На ухмыляющемся лице зеленые пятна цветут. На скулах, на высоком лбу, на подбородке. Пятна к центру темнее, по краям желтые, кое-где кожа потрескалась, лохмотьями отходит. Не лицо, а жуткая маска. И холодом могильным от него веет. Искендер в угол в ужасе забился, задрожал, так что лампа в руках заплясала, а во рту такая жаркая горечь разлилась, дышать больно. Потянулся гульябаны к лампе скрюченными пальцами, в глазах у него рубиновые огоньки вспыхнули, как в его четках. И сразу же Искендера будто морозом застудило. Ни рукой пошевелить, ни пальцем. Нельзя было смотреть в глаза проклятому, предупреждал же мишоппа! Из головы все мысли будто ветром выдуло. Все тело каменной тяжестью налилось. А гульябаны плафон в сторону убрал, губы трубочкой вытянул, медленно наклонился вниз, чтобы загасить дрожащий лепесток огня. Тень его громадная за ним следом по стене сползла. Сейчас задует...

Уже теряя сознание, Искендер вздохнул в последний раз, втянул в себя сколько мог воздуха, сколько в грудь вмещается, под завязку, и выдохнул его белым облачком горячего пара прямо в лицо гульябаны...

Глава тринадцатая

Завещание Мишоппы

Если ночные кошмары появляются верхом на черной кобыле, то утро — не знаю уж, как у вас, а в нашем городе приносят в клювах воробьи. Воробей — птица маленькая, вороватая, серая, смотреть не на что. Ни приготовить из нее что-нибудь толком, ни перьями подушку набить. Ни в какое сравнение с индюком, например. У того и стать, и голова в красных пупырышках, как в орденах, и кулдыкает он так, что сразу по стойке смирно встать хочется. Строгость за километр видно. А воробей и под колеса лезет, и мелочь всякую из грязи подбирать не брезгует, и чирикает невпопад, но по утрам не индюк с петухами рассвет начинают, а эти самые воробьи нахальными криками гонят вороных кобыл с улиц и площадей до самых границ города. Дальше там только соленые степи.

Они-то, воробьи, как раз и разбудили Искендера.

Очнулся он в шифоньере весь скрюченный, с затекшей шеей и с заплывшим глазом. Но то, что глаз заплыл, понял, конечно, не сразу. Думал, спросонья припухло просто. Лампа рядом все еще горела, правда, уже еле-еле. Керосин за ночь почти вышел, но жиденький огонек не погас. Глянул он в щелку: в комнате светло, только тени по углам от воробьиного ора прячутся. Утро! Приоткрыл Искендер тогда дверь, посмотреть на разгром вокруг после ночных приключений и удивился – и следа не осталось! Люстра на месте, окно целое, пол чистый. Как будто и не было ничего: ни мертвой бабки, ни урагана, ни гульябаны – может, все-таки приснилось все это? А что, вполне может быть, из одного сна про бульвар просто в другой перекочевал, как в метро по переходу... Только потом уже, как следует оглядевшись, понял Искендер, что не сон это был. Электронный будильник пропал. С ним, между прочим, пропали новые фломастеры и две чистые тетради. И так по мелочи: носок, тапочки, маленькая подушка с кровати. Утащила, значит, все-таки бабушка Секине, что смогла в этой неразберихе. Еще нашел он на полу гвоздь с прицепившейся к нему рыжей нитью.

Нижнее веко на левом глазу распухло, по краям все пожелтело, как печеное яблоко, а в середине, где паук его цапнул, две черные дырочки от его челюстей. На ощупь место укуса неприятно пульсировало и было теплым. Главное, глаз полностью не открывался, поэтому глядеть приходилось как бы прищурившись.

В квартире было тихо, во дворе первые прохожие появились. Вышел Искендер из комнаты. В гостиной на подносе вокруг блюдечка с проросшей пшеницей свечки давно растаяли, остались от них одни цветные натеки. В розетке недоеденное отцом варенье.

Выпил Искендер на кухне вишневого компота, на цыпочках вернулся к себе и, недолго думая, нырнул под одеяло. Как же приятно после шифоньера в своей постели лежать! Перевернулся он на правый бок, вытянулся, руку под подушку для удобства сунул, и тут чувствует, что там что-то есть. Мелкое что-то. Откинул Искендер подушку: на белой простыне зерно рассыпано. Целая горсть, наверное. Каждое зернышко золотистое, крупное, с глубокой бороздкой посередине, хоть фотографируй, такое красивое. Ясное дело, что не просто так оно здесь. Искендера от радости бросило в жар, сон сразу улетучился. Ведь получается, все теперь для молочного хлебца имеется! Ох! Если бы не боялся всех перебудить, наверное, в пляс пустился бы. Молоко, яйцо, пшеница. Все три ингредиента. Спасибо мишоппе надо сказать, подарок ему полагается (честно говоря, тогда уж и соседка заслужила: кто знает, чем бы все закончилось без ее совета, а то, что она какая-то очень уж странная для обычной соседки — даже спорить не стану).

Выспаться Искендеру не дали.

Вначале он сам долго ворочался, все уснуть не мог на радостях, представляя себе, как они с Абабилем тесто замешивают, хлебец пекут, как он его домой несет.

А только задремал, отец поднялся, стал по квартире ходить, к нему заглянул, буркнул что-то, звонить стал куда-то, сквозь сон Искендер сразу слов не разобрал, но голос у отца был напряженный. А уж потом «скорая» приехала. Две темненькие медсестры, с ними круглолицый врач. Щеки у врача были круглые, гладко выбритые почти до синевы. Разуваться он не стал и прямо так, топая башмаками, прошел в спальню. Пробыли они недолго. Врач минут через пятнадцать из спальни вышел, отца отозвал и что-то стал объяснять ему, сочувственно разводя руками. А когда «скорая» уехала, отец из кухни стал родственников обзванивать. У Искендера от страха опять в животе холодно сделалось. Только это был совсем другой страх, не такой, как тогда в колодце с жабой. Или вчера ночью. Сейчас страшно было от собственного бессилия, от беспомощности своей. Есть средства даже против самых жутких кошмаров, но что делать, когда проклятая болезнь, как инопланетный монстр, пожирает прямо у тебя на глазах любимого человека?

– ...сказали, будет спать часов пять. Я на работу. Если что, звони, – сказал отец, выходя из квартиры. Сказал сухо, стараясь не глядеть на него, потому что в глазах его таился точно такой же страх, какой каменной плитой лежал на сердце Искендера. Даже на припухшую скулу не обратил внимания.

Дождавшись, когда белое такси выедет со двора, с керосиновой лампой спустился Искендер к соседке. Открыла она на удивление быстро, будто за дверью ждала с поварешкой.

- Ну, как? спросила Марьям-ханым. Видела, «скорая» опять приезжала.
- Спит.
- Спит, значит, покачала головой соседка.
- Спасибо вам за лампу. Только керосина больше не осталось...
- Не осталось, говоришь? Ну и хорошо, что не осталось, значит до самого утра горела. Горела?
 - Горела.
- Так это же очень хорошо! Молодец! А что это у тебя с глазом? С кем дрался? Смотри, как распух!
 - Паук укусил.

Брови Марьям-ханым сошлись на переносице, очки сразу запотели, очень уж не жаловала она арахнидов:

- Паук...? Ай-ай-ай! Это же гадость ужасная...! Просто наказание какое-то. Ладно, заходи, сейчас продезинфицируем. К тому же, сынок, дело к тебе имеется. Хорошо, сам пришел, я уже за тобой подняться хотела...
 - Так мама дома одна... пожал плечами Искендер.
- Сам же сказал, что спит. Вот пускай и спит себе. Чего ее беспокоить? Проходи в комнату...

Вот это новости! Сколько лет они к соседке ходят, а никогда дальше коридора не были. Марьям-ханым даже заглядывать из коридора во внутреннюю часть квартиры не позволяла: всегда станет как-нибудь так, чтобы собою проход загородить. Только и разглядишь закрытую дверь в гостиную да поворот на кухню. Чего это она вдруг? Неужели просто сбегать в овощной или в маркет, как обычно...?

– Только ты внимания не обращай, беспорядок у меня небольшой, – предупредила она его деловито и как бы между прочим, прежде чем в комнату дверь открыла. И тут Искендер действительно удивился.

Марьям-ханым всегда была, так сказать, женщина ухоженная, с лоском. Пахло от нее шикарно ванилью, цедрой апельсиновой, сдобой, летними цветами. На улицу выбегала при полном параде, даже если на минуточку в магазин, и у себя в квартире была одета так, будто ждала гостей. На белоснежных фартуках ее никогда не видел он ни единого пятнышка, сколько бы ни возилась у плиты, волосы всегда красиво уложены, словно только что из салона. В прихожей по сезону двадцать пар обуви на специальных полочках блестят, как новые: летом и весной лаковые туфли без каблука, зимой и осенью — сапожки и ботинки. И видно, что все дорогие. И, посылая Искендера на рынок или в магазин, неизменно наказывала одно и то же: брать только самое свежее, самое лучшее, сколько бы ни стоило.

А тут увидел он совершенно пустую комнату. Люстры — и той не было, вместо нее просто лампочка под потолком. Под стать ему были и стены: серые, бесцветные, именно что голые. Из всей мебели имелись застеленная полосатым пледом раскладушка прямо посередине и в дальнем углу у окна какой-то очень пузатый буфет со множеством всяких полочек, полок и ящиков. Буфет был мрачный, тяжелого темного дерева. Лак вокруг замочных отверстий весь потрескался, исцарапался, местами совсем сошел, кроме того, узкие, как бойницы, стеклянные дверцы его были изнутри наглухо обклеены пожелтевшими газетами. Вот тебе и вся обстановка.

«Как же это она без телевизора живет?» – сразу мелькнула у Искендера тревожная мысль, но додумать толком он ее не успел, Марьям-ханым опередила:

– Видишь, перестановку затеяла. Ремонт буду делать... Внуки не сегодня-завтра должны приехать, – сказала она, зачем-то обмахивая чайным полотенцем дверь, – уже и билеты купили. Рейс утренний. Столько хлопот, сам понимаешь. А тут еще печь надо... Не успеваю совсем. Ты проходи, не стесняйся, сядь пока где-нибудь...

Марьям-ханым растерянно обвела комнату взглядом — сесть-то некуда! — метнулась к раскладушке, сдернула с него плед и на полу расстелила.

– По-походному, уж как-нибудь устраивайся. Сейчас тебе что-нибудь закусить принесу...

Искендер ничего сказать не успел, соседка из комнаты выскочила. Потоптавшись немного на пороге, прошел он в комнату и сел по-турецки на плед. Не очень, конечно, удобно, но что делать? Буфет в углу предупреждающе скрипнул: прозвучало так, словно кто-то резко смычком провел по струне. Искендер опасливо покосился на него. В этот момент в комнату снова влетела Марьям-ханым с целой тарелкой кутабов на подносе.

- Ну-ка, перекуси быстренько, еще горячие. И с мясом, и с зеленью...
- Я
- Ешь, сейчас же! отрезала она и, сложив руки на груди, нависла над ним, строго глядя поверх очков в золотой оправе.

Спорить с ней, как известно, смысла не было. Да и кутабы выглядели, как на картинке. Кое-как устроив поднос на коленях, принялся он за еду. Свернул трубочкой первый, надкусил, в рот брызнул ароматный сок, а тут в коридоре послышался шум сливного бачка. Ничего себе! Значит, в доме еще кто-то есть... Открылась и закрылась дверь, кто-то стал шумно умываться в ванной. Искендер удивленно посмотрел на соседку.

- Ты ешь, ешь, не отвлекайся! кивнула она ему. То ли из-за висевшей в комнате густой солнечной дымки, то ли из-за чего-то еще, но глаза у Марьям-ханым в этот момент из золотистых сделались совершенно ненатурального цвета ярко-изумрудными, будто бутылочное стекло или так любимый мишоппой лимонад с тархуном. Выудила она из кармана фартука салфетку, наклонилась, вытерла Искендеру жирные губы.
- Hy? Верблюда под ковром не спрячешь... громко сказал появившийся в дверях комнаты Вахаб и, бодливо потряхивая львиной гривой, в обычной своей манере закатился хохотом. Искендер чуть куском не подавился.
 - Тише ты! прикрикнула на него Марьям-ханым. Соседи кругом!
- Близкий сосед лучше дальнего родственника... все не унимался моряк, но, видимо, опасаясь Марьям-ханым, зажал рот обеими руками, чтобы не так громко было. Лицо его от смеха раскраснелось, из глаз слезы брызнули. Одет Вахаб был подомашнему в спортивные штаны и тельняшку без рукавов. Покатые плечи его были густо расписаны самыми необычными татуировками. Больше всего Искендеру понравилась пронзенная стрелой грудастая русалка в буденовке с надписью: «Муся».
- Я ж тебе говорила, что Вахаб мне родственник, хитро улыбнулась соседка.
 А ты врать начал.
 - Считай сестра! пояснил моряк, вытирая кулаком слезы.
 - Дело у него к тебе.
 - Какое?
 - Сам объяснит. Я в ваши дела лезть не хочу.
- Эх...! рыкнул Вахаб, укладываясь на спину на расстеленный плед рядом с Искендером. Заложил за голову руки. После хорошего туалета, брат, обязательно полежать надо, чтобы остаточный дух весь вышел. Это потому, что у нас, у морских, кроме кишок, еще плавательный пузырь имеется. От этого и не тонем, где бы ни плавали. Слышь, парень, я чего пришел друг твой нас ждет. Ага...! Тебя срочно требует. Разговор у него есть важный. Так что кушай не торопясь, но, как говорится, быстро, а я подремлю немного... Тебе там еще на полчаса кутабов хватит.

Искендер заволновался:

- Наелся уже! Я и так не голодный был...
- Голодный, не голодный, а пока не доешь все, не пойдете никуда, отрезала Марьям-ханым. Я на кухню, пирог с капустой в духовку поставлю...
- Сестра дело говорит. Тощей лошади и хвост в тягость, философски заметил Вахаб и, прикрыв глаза, почти сразу же начал похрапывать.

Так что вышли они только через час-полтора — пока Искендер, давясь, доел кутабы, пока сбегал домой переодеться, мать проведать, квартиру запереть, пока проклятый Вахаб после отдыха, ахая от удовольствия, отпаивался чаем с разными вареньями... Хорошо, хоть пешком идти не пришлось, моряк неожиданно при машине оказался. Да еще какой! Светилась она на всю улицу, как какая-нибудь карамельная конфета, с янтарной полировкой, без единой царапины, ржавого пятнышка или вмятины, словно только вчера выехала из заводских ворот. Даже кожаные сиденья цвета бордо выглядели с иголочки.

— «Москвич» четыреста двенадцать! — со вкусом сказал Вахаб, поглаживая машину по капоту. — Выпуск семьдесят третьего года, когда еще отец твой не родился. Держи салфетки, башмаки оботрешь, у меня чисто...

(Кто бы мог подумать, что этот полукровка такой чистоплюй?)

Как только они тронулись с места, в зеркале заднего вида нарисовался тот самый толстячок с родинкой. Вначале он просто шел за машиной, растерянно оглядываясь по сторонам, а уж когда они, набрав скорость, выезжали со двора, припустился следом рысцой и бежал до тех пор, пока Вахаб резво не вписался в поток автомобилей.

Ехали молча, но на подъезде к «20 Января» моряк вдруг оживился и, тряхнув гривой, сообщил:

- Чтобы ты знал: этот «Москвич» наградной. Его отцу правительство вручило. Вместе с орденом и грамотой.
- А за что? спросил Искендер, чувствуя, как крутит живот от большого количества съеденных кутабов.
 - За выполнение важного государственного задания.
 - Какого задания?
- Секретного, важно сказал Вахаб и выпятил фиолетовые губы, давая понять, что расспрашивать дальше его об этом бесполезно. Но, проехав еще немного вперед, он снова оживился и полушепотом объяснил:
- По заданию правительства в тысяча девятьсот семьдесят третьем году отец в Париже с коммунистами украл скелет французского маршала Филиппа Петена.

Сказал и на этот раз замолчал окончательно, словно воды в рот набрал. Так что, кто такой был этот маршал Петен и зачем нужно было похищать его скелет, Искендер так и не узнал.

Между тем выбрались они из города на шоссе. Поехали быстрее. Вахаб все время молчал, глаза на дорогу пучил и только в такт движению машины гривой по-качивал, так что Искендера — как он ни старался — в конце концов в сон сморило (и неудивительно, если вспомнить прошлую ночь).

Приснилось ему, что летит он верхом на огромной вороне, на шее у нее пристроился, руками в перья вцепился, шевельнуться не смеет. Под ним городские крыши, улицы, машины, люди, мелкие с высоты, как букашки. В ушах холодный ветер свистит. Ворона крыльями то машет изо всех сил, то планирует, как самолет, черными глазами с золотым ободком под собой город сканирует. Видно, доисторическая какая-то ворона, нынешние такого размера не бывают. Даже больше южноамериканского кондора. А кондор, между прочим, – самая большая птица. Поди знай, как это его угораздило на этой вороне оказаться? Но во сне и не такое случается. На вид она вся будто дегтем измазана, перья на ощупь мягкие, приятные, от шеи тепло идет, и пахнет от нее немного бензином. Подлетели они к 4-му микрорайону, с высоты Искендер родные места сразу узнал, хотя никогда сверху их не видел. Вон школа, даже будку хортдана разглядеть можно, крыша девятиэтажки, точно такая, какой он всегда ее представлял... Ворона делает широкий круг и, пролетев над «домом торжеств», оказывается над их двором. И тут Искендеру становится страшно: сложив крылья и выставив клюв, пикирует птица в окно третьего этажа – прямо в окно его комнаты! Теперь только Искендер догадался: это не птица такая большая, а он сам почему-то сделался таким маленьким, что может летать на вороньей шее! Еще немного – и со всего маха они врежутся в стекло, трещат на ветру крылья, ворона хрипло каркает...

– Приехали! – тряхнул его за плечо Вахаб. – Ну, что, брат? Голодной курице просо снится? Спишь беспокойно, ворочаешься, глисты у тебя, наверное. Ты чеснока побольше ешь натощак. Вылезай, давай...

Вышли они на обочину разбитой дороги. Перед ними почти белая от соли унылая степь, которая вдалеке упирается в голые холмы. Ни травинки вокруг, ни куста, лишь под стать самой степи торчат из земли кривые колючки, послушно ложащиеся на бок в порывах набегающего ветре. Да в нескольких метрах от того места, где заканчивается дорога, стоит одинокое дерево. Издалека видно, какое оно сухое и безжизненное, будто обожженное огнем. Свисающие с голых сучьев какие-то пестрые

лохмотья полощутся, словно пряди грязных волос. Вереницей тянутся рваные облака, тащат за собой по земле глубокие тени вперемешку с приблудным мусором.

Какое неприятное место!

Искендер обернулся к Вахабу, посмотрел вопросительно: мол, что дальше, зачем мы сюда приехали? А Вахаб в ответ, грустно покачав львиной головой, указал на дерево пальцем:

– Вон же он, Карагач, – все, что осталось, брат...

Не разбирая дороги, бросился Искендер к дереву по кочкам, кроша подошвами кроссовок соляную корку, белая пыль за ним стеной повисла. Добежал, встал, как вкопанный, перед неживым Карагачем, с ужасом глядя на торчащие из земли сухие корневища, перекрученные будто от невиданной боли, с черными страшными узлами. Корни уже больше не держат дерево, кренится оно набок. То, что издали он принял за лохмотья, оказалось сцепившимися между собой миллионами мохнатых гусениц. Висели они целыми гроздьями, извивались, кишели по всему дереву, жадно доедая все, что оставалось еще в нем живым, и весь Карагач гудел от безостановочного хруста их челюстей. А прямо под входом в дупло вспучился, словно шершавый гнойник, огромный нарост телесного цвета, из которого струйками сочилась темная, клейкая на вид, жидкость...

Не дожидаясь Вахаба, Искендер быстро полез наверх, к дуплу. И сразу же чуть не сорвался: кора отваливалась, как кожура, большими кусками, обнажая покрытый рыжей трухой ствол. А тут еще эти мерзкие гусеницы сыпались ему сверху за шиворот.

Дупло оказалось открытым нараспашку, как дверь нежилого и всеми покинутого дома. Его успело затянуть свежей паутиной. Здоровенный паук при виде Искендера (не тот ли самый, что его за скулу цапнул?) недовольно нырнул в глубокую трещину. Искендер отломил кончик ветки, накрутил на нее паутину, швырнул с отвращением в сторону, а уж потом стал ногой в дупле стремянку нащупывать. Но стремянки на месте не оказалось. Может, стащили уже? Пришлось прыгать. Однако, уже сиганув в дупло, успел Искендер испугаться: а что, если гусеницы с пауками и матрасы умудрились вчистую сожрать? Твари они неразборчивые, дай им только волю...

Напрасно испугался. До них, судя по всему, они еще не добрались. Так что приземлился он вполне благополучно, не считая того, что раздавил собой целую колонию склизких грибов с серыми шляпками, которые теперь повсюду на матрасах повыскакивали. Брызнули они с мерзким чавканьем во все стороны, сзади к джинсам, как клей, налипли. И сколько потом ни отряхивался Искендер, толку не было.

Карагач и внутри выглядел покинутым. Нет, кое-где чахлая зелень еще была. Там и тут еще из высохших кустов высовывались живые листья, подрагивая в пыльных лучах солнца, и вспархивали из-под ног редкие мотыльки — одни только желтые, перепуганные, но весь пол был усеян мертвыми жуками, которых, шумно толкаясь, расклевывали куры с индоутами. Валялись битая посуда и пустые упаковки стирального порошка «Барф». Куда-то пропали ведро и башмаки Абабиля. Зато повсюду валялись пластмассовые тазы. Без прежней растительности стены дерева выглядели обшарпанными, старыми, будто с них содрали обои, по углам гнила зловонными лужами умирающая плесень, прежде фосфоресцирующая всеми цветами радуги, и только те же мерзкие склизкие грибы пышно прорастали, где им заблагорассудится. Даже свет из-под купола, который раньше тянулся внутрь Карагача широкими золотистыми канатами, висел теперь мутными призрачными клубами, словно туман.

– Абабиль...!

Мишоппа лежал на сундуке, укутанный с головой одеялами. Голос Искендера, вспугнув на мгновенье несушек, эхом прокатился под сводами дерева и замер где-то в вышине. Мишоппа даже не шевельнулся. С хрустом давя мертвых насекомых, Искендер бросился к нему. Но не добежал, в прихожей Карагача что-то тяжело грох-

нулось, и опять с чавканьем разлетелись грибы, затем в арочном проходе, потирая бок, появился Вахаб.

 – Эх, – сказал он, по-собачьи вытряхивая рукой из гривы мусор, – битая посуда два века живёт.

Начал он опять, было, хохотать, но, увидев расстроенное лицо Искендера, осекся:

– Чего он...? Спит...?

Искендер стал осторожно трясти мишоппу за плечо. Из-под одеяла не было видно даже его лица. Торчал только грязный кончик вечной лыжной шапочки.

– Ты посмотри, как гниет все! – пнул Вахаб ногой сломанную чашку. – Скажу тебе, как брату, боюсь, до Новруза не дотянет. Эй, Абабиль...! Пришли мы...!

Искендер потянул край одеяла: исхудавшее лицо мишоппы было землистого цвета, впавшие щеки заросли неряшливой щетиной.

- Дышит еще? обыденно спросил Вахаб, присаживаясь на край сундука. Искендер наклонил ухо к самому лицу Абабиля, а услышав тихое, посвистывающее дыхание мишоппы, почему-то остро пахнущее тархуном и рыбными консервами, вздохнул с облегчением.
- Эй, ставь самовар, гости пришли! рыкнул моряк. Пока железо в работе, его ржавчина не берёт!

Тут мишоппа открыл мутные, налитые кровью глаза и протяжно икнул.

- Афлатун тебе на том свете самовар поставит, сказал он тихо.
- Фу! поморщился моряк, потянув себя за мочку уха. Скажешь, тоже! Лучше уж дохлую кошку на обед два раза съесть, чем с ним чаи гонять! Пусть враги наши с ним чай пьют... Да поднимайся ты уже, хватит притворяться.

Облизав кончиком языка запекшиеся губы, мишоппа сипло крякнул:

- Не могу, ноги не держат. Да и воды нет, чтоб самовар ставить... перевел он взгляд на Искендера. Присядь, поговорим немного о делах наших...
- Я за лекарствами сбегаю, зачастил Искендер взволнованно, ты только скажи, что надо...! И за деньги не беспокойся, найду. Мы тебе доктора приведем, у нас в пятом подъезде живет, отличный доктор...
- Садись... садись... не шуми, в голове, как из пушки, стреляет. Доктор мне тут не поможет, братец. Сам же видишь Карагач...
- ...не сегодня-завтра подохнет... вздохнул Вахаб, сосредоточенно обстригая ногти складными кусачками, которые висели у него на брелоке с ключами от машины.
- ...умирает, недовольно стрельнув глазами в сторону моряка, продолжил мишоппа. Жизнь из него утекает литрами. Скоро совсем ни фига не останется. А уж как он умрет, так и я с ним...

Всхлипнул Абабиль.

- Если так дальше лежать будешь точно помрешь, опять вмешался Вахаб. Встал бы лучше, гимнастику сделал. От лежания желчь застаивается и протухнуть может. У меня, вон, как паром сгорел тоже без памяти лежал. Чуть не ополоумел совсем. А потом ничего, привык. Каждое утро теперь зарядка, каша вермишелевая, пока в туалете сижу, новости с телефона обязательно читаю очень, брат, с кишками помогает. Надо бы тебе тоже телефон купить, а то живешь как при царе Николае...
- Ты меня с собой не равняй, я мишоппа наследственный! хотя и слабым голосом, но сердито оборвал его мишоппа. У нас организмы разные. Ты без парома своего сто лет вермишелевую кашу хлебать можешь, а у меня ... с трудом приподнявшись, Абабиль откинул край одеяла, демонстрируя толстый вязаный носок на ноге. Помоги-ка снять, спина ноет, согнуться не могу...

Искендер стянул с ноги мишоппы носок, под ним оказался еще один, под тем – третий, и только потом уже показалась желтая ступня Абабиля.

– Что это? – вытаращил глаза Искендер.

Пальцы мишоппы сделались темно-коричневыми, усохли, а кожа на них покрылась темными бороздами, как на коре.

- Гангрена, покачал гривой моряк.
- Какая еще гангрена...! возмутился мишоппа. Полное и окончательное одеревенение. В корягу превращаюсь, понял?

Он устало откинулся на подушку.

- Вот и на руке началось... продемонстрировал он мизинец, кончик которого так же, как и пальцы на ноге, заметно потемнел и скукожился.
 - Больно это вообще? поинтересовался Вахаб.
- Как тебе сказать, когда спишь не очень. А как проснешься, хоть вой. Особенно руки мучают.
- Эх, как говорят: какой палец ни порань боль одинакова. Такая у тебя, значит, судьба получается.

Искендера охватило отчаяние, стал он трясти мишоппу за плечо:

- Ты теперь усохнешь в корягу? Что-то же можно сделать... Скажи! Так не бывает... Есть, наверное, средство какое-нибудь!
- А если паром распаривать? рассуждал вслух моряк, задумчиво глядя в затянутый солнечной дымкой свод Карагача. Не обращая на него внимания, мишоппа тихо сказал Искендеру:
- Не переживай ты так, конец у всех древесных мишоппа один. Мог бы, конечно, пожить еще, молодой ведь совсем... утер он кулаком набухшую слезу.
- ...или, скажем, зеленкой помазать хорошенько... раз ее тоже из зелени делают...
- …если бы не жадность моя проклятая. Через нее теперь пропадаю. И ведь знал же, что нельзя… всхлипнул он.
 - Что случилось?
- ...нет, зеленка сушит. Тут наоборот надо, в пиве отмачивать. В нефильтрованном...
- Да что тут говорить... Я тут недалеко в Баладжаре стоял. Место нашел хорошее. Сейчас... мишоппа завозился под одеялом и достал из-под него початую бутылку тархуна. Приложившись к ней основательно, он тихо рыгнул. Кто-нибудь будет?
- Давай, сказал Вахаб. Допив остатки лимонада, он бесцеремонно швырнул пустую бутылку в куриц, которые, разбежавшись, недовольно загалдели в ответ. Терпеть не могу тархун. Дюшес лучше.
 - Чего ж тогда пил? зло спросил Абабиль. Вахаб пожал плечами.
 - Расскажи!
- Чего рассказывать... Вторник ночью, когда ветер навалился, вышел я пройтись...
 - За бельем, вставил Вахаб.
- Обычай у нас такой, понимаешь? На Вторник Ветра, если гульябаны в ударе, жди ураган. В удачный Вторник можно кучу барахла набрать. Думал, всего на полчаса выскочу, рядом похожу, может, чего подвернется. Так и случилось, только на улицу вышел, смотрю, летит уже простыня, штаны, еще кое-что из мелочи. Ну, я и побежал следом. Свет в поселке выключился, темнота такая, что рук своих не видать, кое-как нашел на кусты попадало все. Подскочил я к ним, а там уже бабка какая-то стоит и белье мое с кустов собирает. Бабка вся в черном, не разглядишь. Мне бы сразу догадаться, что она неживая, но в темноте такая жадность навалилась! Вцепился я в белье, она его к себе тянет, я к себе. Говорю: отдай, мое, с моего двора улетело, а она только шипит в ответ, как змея. Долго мы там с ней боролись, только когда бельма ее неживые увидел, догадался, что бабка эта приблудная, мертвая, видать, от своих отбилась...

- Совсем ты, брат, оказывается, дурак, хоть и потомственный мишоппа. Кто же на Вторник Ветра с неживыми связывается? Один убыток от них.
- «Уж не бабушка ли Секине? Только как же она в Баладжаре оказалась?» подумал Искендер.
- Дурак, согласился с моряком Абабиль. И дерево погубил, и себя... Пока, значит, я сообразил, пока обратно в темноте к Карагачу дорогу нашел не знаю, сколько времени ушло. Долго, наверное, потому что, когда я до дерева добрался, ветер стих совсем. Тишина такая наступила. Иду себе, расстроенный, и тут молния...
 - Точно! Была молния, подтвердил моряк.
- ...светло, как днем, стало, смотрю на самой верхушке Карагача стоит ктото и метит его вовсю. Прямо струей...
 - Как метит? не понял Искендер.
- Как собаки метят? Ногу поднимают и метят. Мочился во все стороны, мерзавец. На ветки мои, на ствол, на корни как из шланга поливал. Пока молния сверкала, успел я его разглядеть маленький, животастый, в рыжем свитере...
- Я знаю его! заорал вдруг Искендер. Это же нюхач! Как Лятиф! Следит за мной все время! До школы ходит, родинка у него здоровая такая... Думает, я его не вижу...! Его Лятиф на мой след навел...

Мишоппа натянул край шапочки почти до самых глаз:

- Нет, брат, не нюхач это. Лятиф нюхач, а этот толстый с родинкой амбал. Совсем другая порода.
- Амбал...? Что еще за амбал, он живот еле тащит! Этого придурка ко мне в окно занесло с воронами...!
 - Ночью, что ли? Вчера? уточнил Абабиль.
 - Ну, да! По комнате летал... Орал, как резаный.
- Эх! Точно амбал! со знанием дела кивнул Вахаб. Ты смотри, давно их не было. Думал перевелись уже. Кого по нынешним временам на амбала подпишешь...? Все умные стали. Раньше народ проще был. За хлеб с сыром уговорить можно было.
 - А я попался, как фраер... с горечью сказал мишоппа.
 - Абабиль, да объясни, наконец...!
- Амбал, братец, это такой совершенно никчемный человек. Живет себе, никого не трогает. Работает где-нибудь, пока вдруг его ведьма себе в амбалы не выберет. Поднесет она тогда ему специальное пойло, которое на вкус и цвет обычный чай, а на самом деле страшная отрава...
 - Кишки гниют. Жуткое дело, вставил Вахаб.
- И вот тогда человек этот уже ни есть не может, ни пить ничего, а пухнет с каждым днем, живот, как пузырь, надувается газами от яда, и когда ему уже совсем плохо, вызывает его к себе ведьма и говорит: «Найдешь дом такого-то, пометишь его, как следует, со всех сторон тем, что у тебя внутри булькает, и будет тебе облегчение». И укажет, чей дом метить надо. Теперь понятно? Этих амбалов раньше вместе с нюхачами выпускали. Нюхач на след наводит, а амбал метит. Короче говоря, в паре работают, как полицейский наряд. А амбалами их называют потому, что вместо ведьмы сами в животе ее отраву таскают. Вот этот в рыжем свитере, пока я его с дерева сгонял, усох вполовину, если не больше, всю заразу из себя на дерево мое выпустил и в свое нормальное состояние вернулся...
- Их потому любым ветром и носит, что воздух один внутри, снова встрял моряк.
- Чуть не пришиб его палкой. Только что с него возьмешь, урода, он после всего еле на ногах стоял...
- Там, где жирный худеет, из тощего дух вон выходит, влез Вахаб со своими глупостями.
 - ...пока он к дороге ковылял, дерево мое, где он пометил, уже светиться на-

чало, закряхтело, затрещало, листья посыпались. Я его кое-как сюда отогнал, подальше от всех. Еле двигалось, думал, не дойдем. Стал его здесь керосином оттирать, и известью, и купоросом, и стиральным порошком, тер до самого утра, пока силы еще были. Бесполезно. Кебире, гадина, свое дело знает. Заговор у нее быстрый. Хоть против человека, хоть против дерева. Сам видишь, что творится, — на глазах гниет. До праздника только и дотянет. Придешь меня в последний раз проведать? — всхлипнул мишоппа.

- Абабиль...! в отчаянии воскликнул Искендер. Скажи, что делать!
- Вот ты непонятливый, широко хрустнув челюстью, зевнул Вахаб. Сказано же, вариантов нет. Я его с самого начала предупреждал, не связывайся с ней. Перебрался бы в Сумгайыт, бульвар там хороший, а он заладил: «Хлебец, хлебец» вот тебе и хлебец, ешь на здоровье...

Не обращая внимания на ворчанье моряка, мишоппа показал Искендеру правую руку:

- Смотри... теперь уже кончики всех пальцев заметно потемнели, на ногтях выступили характерные древесные разводы, а кожа вокруг потрескалась. – Быстро деревенею. Может, и до праздника не дотяну.
 - Абабиль...!

Мишоппа чихнул.

- Еще раз для ровного числа, сказал Вахаб, а пока мишоппа морщился для следующей порции чиханья, наклонился к Искендеру и быстро прошептал, показывая на часы. Мне на стройку пора. Ты, давай, выясняй, чего дальше с твоим хлебцем делать, пока он еще говорить может, и пойдем...
 - Убью эту гадину...! вырвалось у Искендера.

Мишоппа чихнул еще одиннадцать раз, отчего лицо его пошло пятнами. Отдышавшись, наконец, он хрипло спросил:

- Лампа не погасла вчера...? Знаю, что не погасла...
- Откуда?
- Каждому ноша дается по плечу. Это Вахаб верно говорит, согласился мишоппа. И зерна нашел?

Искендер кивнул.

- Молодец! Не спрашиваю, знаю, что страшно было. А с глазом что? Неужели сцепился с ним?
 - Нет. Паук укусил...

Вахаб еще раз выразительно показал на часы.

- Сейчас, сейчас... буркнул недовольно мишоппа. Слушай, братец, все, что я обещал, выполнил. Там наверху, где лежанка Мовсюма, найдешь коробку. В нем молоко, три яйца Симург, не сглазить, как часы работает, а зерна у тебя есть. Во вторник прямо с утра пойдешь к родственнице Вахаба, соседке твоей, замесите тесто, испечете хлебец. На праздник, вечером, надо, чтобы мама твоя все съела. Несложно. Без меня управишься.
 - Я...
- Подожди. Дослушай. Что-то говорить мне тяжело.... Поспать, наверное, надо...язык во рту еле ворочается... голос мишоппы внезапно словно угас, будто сели батарейки, речь замедлилась, он закрыл глаза, ...голова кружится... пока не забыл, дядьку моего к себе возьми, пропадет он один... заботься о нем...корми часто...да... двери держи закрытыми... побежит не догонишь...

Голос мишоппы теперь был едва слышен, а еще через секунду он тихонечко, как-то по-детски захрапел с полуоткрытым ртом, пуская слюну на подушку. Не зная, что делать, Искендер беспомощно посмотрел на моряка.

– Это он верно говорит, мышь она и есть мышь. Нагляделся я на них на своем пароме. А Мовсюм хоть и родственник получается, но клизма редкая! Намучаешься

еще с ним. Ты, главное, кошек ему не показывай и дверь открытой не оставляй – рванет так, что не угонишься. Тьфу, дал же бог родственников! Чтоб я сдох! У людей прокуроры с депутатами в родственниках ходят, а у меня мышь с четками! Сказать стыдно. Ни на свадьбу не позовешь, ни на поминки. Только в цирке его показывать. Потому нет мне в жизни везения, что дяди приличного никогда не было. А был бы дядя, ходил бы я на нефтяном танкере, а не на вонючем пароме. В нефти, брат, все деньги, – качая головой, возмущался Вахаб. – Уснул он, пойдем уже. Бери Мовсюма и продукты, я снаружи подожду. Дух здесь очень уж противный стал. Смертью пахнет.

Пока Искендер возился на втором этаже, внизу, не переставая, кудахтали и носились зачем-то куры. Уже только в машине, услышав из багажника птичью возню, Искендер догадался, чего это они переполошились.

– A что? – пожал плечами Вахаб. – С паршивой овцы хоть шерсти клок. Абабилю-то птицы уже ни к чему. Все равно ведь пропадут. У индоутов, кстати, мясо очень диетическое. Если его с черносливом потушить...

В этот момент Искендеру захотелось треснуть моряка по голове.

В коробке, куда вместе с матрасом устроил он измученного волнениями и переездом Мовсюма, помимо ингредиентов для хлебца, обнаружил Искендер адресованный ему конверт. Внутри оказалось написанное от руки на тетрадных листах очень подробное завещание мишоппы.

Завещание

«Я, Абабиль (дальше следовал список из 98 имен, который занял почти целую страницу), находясь в очень здравом уме и удовлетворительном самочувствии, определяю следующее:

Хранителем тела (коряги) вышеозначенного Абабиля назначается его брат и друг Искендер, проживающий по адресу: Баку, 4-й микрорайон, улица Мир Джалала, дом 22A, квартира на третьем этаже.

Тело (приблизительные размеры: 149 мм x 40мм) следует хранить в полном соответствии с правилами по уходу за ценными породами дерева, приличиями и благородством, а именно:

- 1. Проветривать ежедневно;
- 2. Натирать канифольным маслом (банка с маслом у входа на второй этаж сразу за ширмой);
 - 3. Предохранять от древоточцев;
- 4. Содержать в чистом сухом помещении вдали от легковоспламеняющихся материалов;
 - 5. Сообщать последние новости;
- 6. Беречь от сглаза и использования ведьмами и прочими злонамеренными лицами в их поганом ремесле.

Все мое движимое имущество, за исключением Карагача и вещей дяди Мовсюма, переходит к мишоппе Вахабу (Моряку), как особо нуждающемуся (тебе-то это все ни к чему, и по размеру не пойдет, а он, хоть и придурок, но все-таки родственник).

Далее, радиомикрофон, малиновый пиджак, диск с эстрадными записями, запонки с черным камнем, три метра зеленой ткани с люрексом и полтора мешка овса (все, кроме овса, найдешь в сундуке, овес на кухне за ширмой) переходят моему верному компаньону по бизнесу Агоппе, чтобы вспоминал добрым словом и не держал зла, как и положено между честными бизнесменами (вообще-то, ему и деньги коекакие полагаются, но ты ему не говори, перебьется, а будет спрашивать, отвечай, что ничего не знаешь).

По наступлению естественной кончины Карагача от подлого заговора дерево необходимо сжечь, а место его нахождения удалить из памяти.

Дорогой мой брат Искендер!

Хлебец с матери твоей проклятье снимет. Это слово тебе от Карагача. Но хорошо бы вам после этого квартиру поменять. С ведьмой в одном подъезде жить, — ничего хорошего не будет. Рано или поздно она опять какую-нибудь пакость устроит. Надеюсь, соседка твоя, Вахаба родственница, уговорит вас. У нее в рукаве тысяча и один фокус припрятаны, и столько же пирогов. Мой тебе завет: впредь с ведьмами не связывайся. Ни с плохими, ни с хорошими. У всех у них натура одна — дикая. На то и ведьмы.

Теперь самое главное! На кухне в Карагаче на полке найдешь банку из-под масла «Тексун». Банка с одного боку чуть примята. Открой ее, только когда рядом никого не будет. Сверху присыпано рисом, под ним в черном пакете завернуты деньги: 1653 маната нашими, 4 николаевские десятки и 6 олимпийских рублей. Это тебе наследство от Абабиля, все, что накопил. Трать по-умному, только в самом крайнем случае. На глупости не разбазаривай, а то прокляну. Разберешься как-нибудь. А Вахаб пускай индоутами давится.

Твой друг на всю жизнь,

Абабиль.

Список лекарств для Мовсюма и мобильный телефон Рены ханым (врача) прилагаю.

Записано моей собственной рукой в половине одиннадцатого утра в среду при полном отсутствии свидетелей».

Глава четырнадцатая

Четвертый Вторник (Земля)

В пятницу привез отец тетушек. И сразу три штуки! Тетки все, как на подбор, были похожи на покойную свою старшую сестру Секине, бабушку Искендера, только носы у всех были почему-то разные. У одной крючком вниз, у другой крючком вверх, а у третьей вроде ровный, но приглядишься — кривится набок. Тетушки были маленькие, юркие, но ужасно бестолковые. Даже больше, чем бабушка. А самое неприятное, что всем было понятно, чего он их привез: с мамой становилось все хуже. Она уже, считай, и не вставала. Только иногда в себя приходила между уколами, пока боли не начинались, звала его к себе, расспрашивала. Все распирало его рассказать ей про мишоппу, про хлебец, ободрить, чтобы знала, — совсем немного осталось, пусть держится, но нельзя. Только все дело испортишь.

А тетушки первым делом Марьям-ханым обидели. Не понравилось им, что она еду им тащит. Типа, спасибо, конечно, соседка, но мы тут уж сами всем заправлять будем, нечего нам бесплатные обеды устраивать. Тем более, что в долму, уважаемая, мяты вы наложили, а в нашей деревне мяту класть не принято, а наоборот, только кинзу, петрушку и базилик. У Марьям-ханым от возмущения стекла очков запотели, глаза темной зеленью налились, искрить начали. Искендер в этот момент за тетушек даже испугался немного. Марьям-ханым — не Кебире, но предупреждение мишоппы из завещания он хорошо запомнил. Соседка тетушкам ничего в ответ не сказала. Сдержалась. Кастрюли свои забрала и к себе спустилась. Только вид у нее при этом был... как бы это сказать, — очень опасный.

А тетушки, как три курицы безмозглые, пошушукались между собой на своем птичьем языке и все трое бросились на кухню. Одна что-то варит, другая овощи стругает, третья в холодильник без конца лазит, пар и гарь по всей квартире, раковину

засорили, поспорили, переругались между собой почти сразу, Искендера в магазин четыре раза гоняли. То специю какую-то забыли, то зелень, то соли в доме мало, то полкило курдюка им не хватает. Еще и окна мыть затеяли салфетками и старыми газетами, которые с собой зачем-то привезли, стали стекла оттирать по очереди, чуть вниз не свалились. Так что, когда отец вечером на ужин заскочил, Искендеру от злости говорить с ним не хотелось. Справлялись же как-то потихонечку без этих дурацких тетушек. А отец, кажется, и сам был уже не рад, что из деревни их выписал. В квартире все кувырком. В раковине грязная вода стоит намертво, в ней луковые очистки плавают, в коридоре целый мешок мокрых газет. В еду столько жира и масла бухнули, что ложками черпать можно. А они, довольные дальше некуда, носы свои над тарелками нагнули, ломти хлеба жадно прямо в кастрюлю обмакивают и так энергично вставными зубами мясо перемалывают, что жир струйками по морщинистым подбородкам течет. В общем – противно смотреть даже. Искендер так ничего и не поел. Позже на кухне куском пирога с капустой от Марьям-ханым закусил, пока тетушки, вырывая друг у друга пульт, перед телевизором бранились. Одно только хорошо оказалось: без своих многослойных жакетов, платков и накидок все трое были маленькие, сухонькие, компактные, – на одном раскладном диване в гостиной как-то разместились. Перед тем, как спать лечь, облачились они в байковые ночные рубашки – точно, как светофор: у одной в желтенький цветочек, у второй в красненький, у третьей сплошная зеленая ботва. Протезы зубные поснимали и, продолжая сплетничать и переругиваться уже без зубов, долго волосы свои в седые косы заплетали, словно девицы на выданье. Только что не пели.

 Ага, – жаловался матери Искендер, – принц к ним сейчас явится на белом коне, увезет за синие горы, чтобы они его там своим жирным соусом до поноса довели...

Мама прыснула:

- Нехорошо так говорить, они помочь приехали. Не обращай внимания. Просто глупые...
 - Как курицы! Пусть он их обратно увезет. На кухню зайти невозможно!
 - Тише, услышат!
 - И в ванную тоже...

Чтобы поменьше видеть тетушек, каждый день выходил Искендер из дома. В школу идти было не надо, каникулы. А с прошлого вторника ни толстячок с родинкой, ни Лятиф под окнами больше не маячили. Ветром их сдуло. Оно и понятно, дело они свое черное сделали, до Карагача добрались, так что гулять по микрорайону опять можно было свободно. Само собой, с Мовсюмом за пазухой. Не оставлять же его одного с тетушками. Они в минуту найдут и уничтожат.

Забот, кстати, с ним оказалось немало. Даром, что мышь. Вовремя накорми, усы и лапы после каждой кормежки оботри, насыпь семечек, таблетки в порошок истолки и с молоком подай, подстилку замени, майки постирать не забудь — штаны, понимаете ли, он не носит, а майку каждый день меняет. Лимон ему нужен от давления, мята от сердцебиения, чернослив от запоров, утром глаза ватой протирай, ночью уши ватой затыкай. То ему дует. То ему жарко. То газами так бедный мучается, что глаза, того и гляди, из орбит повыскакивают, сам, вроде, размером всего с ладонь, а шум от него, как от взрослого дядьки в туалете. Но все равно присматривал за ним Искендер почти с удовольствием. Самоотверженно. Жаль только, Мовсюм молчун оказался. Говори с ним сколько хочешь, он один глаз приоткроет, слушает, кивает иногда, но отвечает редко.

Ходил Искендер с ним два раза на стройку к моряку, уговаривал его съездить к Абабилю. В первый раз не застал, а во второй Вахаб отшил его сразу. Говорит, сам каждый день навещаю и достаточно. Нечего его без дела беспокоить. Тем более, что в спячку мишоппа впал. Как медведь. Силы экономит, замедляет обмен веществ в

организме, чтобы до светлого праздника продержаться. Если бы не спал, давно одеревенел бы, а так пока только по колени снизу и по локоть сверху. А поедут они все к нему уже 21-го в полдень, потому что накануне у моряка дело срочное. Услышав такое, Мовсюм из-за пазухи Искендера изловчился и смачно плюнул в Вахаба. В гриву попал. Хорошо, в этот момент моряк вдруг раззевался во всю пасть, ничего не заметил.

Город к празднику готовился, народ по распродажам бегал, а у Искендера настроение было хуже некуда. Если не Мовсюма кормить, допоздна бы дома не появлялся. С этими неугомонными тетушками квартира совсем чужая стала. В каждом углу они свои порядки навели. Только в мамину комнату пока не добрались. Но ее как будто и нет уже. Как Абабиль — спит все время, от укола к уколу. Как-то спросил он у нее, снится ли ей что-нибудь?

– Нет, – ответила она, вздохнула. – Ничего. Как проваливаешься в темную яму. А если и видишь что-нибудь мельком, не те это сны, сынок, чтобы помнить. Не дай бог никому таких снов.

А в пятницу днем подслушал Искендер, о чем она с отцом говорила. Тетушки как раз в шали свои закутались и по магазинам пошли. Хотели и его с собой взять, чтобы не заблудиться по дороге, но Искендер наотрез отказался – еще не хватало с ними по микрорайону разгуливать. Сказал, что голова и горло болят. Они, само собой, не поверили, стали противными руками, от которых луком и мясом разило, ему миндалины щупать, но он так орать начал, что они отстали. Хоть бы заблудились совсем!

Искендер сидел перед телевизором, когда услышал, как родители тихо между собой разговаривают – дверь в спальню оказалась открытой. Вот он и не удержался, тихо выскользнул в коридор.

- ...ты же сам знаешь... недолго уже совсем... услышал он голос матери. И сразу было понятно, о чем это она. Отец, который обычно начинал сердиться, когда она говорила такие вещи, на этот раз ничего не ответил. Обещай, что обменяешь квартиру. Я не хочу, чтобы вы здесь с ним оставались...
- Ну, что ты опять начинаешь... вздохнул отец. Сейчас не об этом нужно думать.
- Прошу только об этом. Переезжайте отсюда, как можно скорее... Пока она всех не извела! Это единственная моя просьба. Думаешь, я глупости говорю каждую ночь во сне ко мне приходит. Только это не сон... встанет прямо вот тут, около кровати, улыбнется. «Ты, говорит, не сдохла еще? Скоро уже, часы тикают...». Я ей хочу сказать, чтобы убиралась прочь, а не могу, рот как будто нитками зашили...
 - Хватит! Это у тебя все от лекарств...
- Нет...! Не в этом дело... Она мне уже и день сказала... 21-го. Утром. Голос ее сорвался, стала она плакать.
- Глупости все это... вбила себе в голову... отец резко поднялся с места. Успокойся. Все будет нормально. Ладно, потом поговорим, мне уже собираться надо...

Искендер на цыпочках вернулся на диван, стал делать вид, что кино смотрит. Но какое тут может быть кино, когда тебя словно ведром ледяной воды окатили? Руки и ноги холодные, а лицо, наоборот, горит, как от солнечного ожога, в голове мысли путаются. Убить эту ведьму мало...! Что же еще останется делать? Если с хлебцем ничего не выйдет... Мало ли, что там Абабиль обещал? Он даже себя спасти не может...И куда девалась Марьям-ханым? Уже который день после разговора с тетушками она нигде не показывается, вот уж услужили старухи, ничего не скажешь! Изза двери соседки ни звука не доносится, в глазке свет не горит, и даже вкусностями, как раньше, не пахнет. Обычно она в день по несколько раз из дома выскакивала. За покупками, по каким-то своим неведомым делам, энергии в ней, как в шаровой молнии. Только что, вроде, на кухне еду по тарелкам раскладывала, а через минуту видно в окно, как она, из подъезда выбежав при полном параде, торопится к автобусной

остановке. Непонятно, когда это она переодеться успела? И вот, пока ты, доедая, об этом размышляешь, не удивляйся, если через полчаса она опять у вас на кухне появится с кастрюлей печеного: снова в выглаженном фартуке, пахнущая холодом с улицы, кардамоном и корицей. Все-таки пока Марьям-ханым была рядом, Искендеру было не так тоскливо, как с этими бестолковыми тетушками. И пусть в доме у нее что-то странное творится, ему-то какое дело! На то и шаровая молния. Может темноту разогнать, а может так рвануть, что после нее воронка глубже любого молочного колодца окажется.

А что, если она уехала? Кто тогда поможет хлебец испечь?

...На последний перед праздником вторник тетушки едва не спалили квартиру. Готовиться они к этому начали, собственно говоря, еще с воскресенья, когда отправились зачем-то через полгорода на рынок, хотя все прекрасно можно было бы купить и в лавках около дома. На этот раз Искендеру отвертеться не удалось. Пришлось с пересадками тащиться на «Зеленый базар». В автобус тетушки забирались, как во вражескую крепость. Шли неразрывной цепью напролом, суетились, громко подбадривали друг друга и вообще вели себя так, как будто в их богом забытой деревушке до сих пор передвигаются на ослах. В деревне этой Искендер был лишь один раз в глубоком детстве, ничего об этом не помнил, но был уверен, что транспорт там обязательно имеется, а тетушки ведут себя так исключительно по своей природной бестолковости. Захватив несколько сидений, они просили подряд всех входящих пассажиров предупредить их, когда нужно сходить. На рынке щупали товары на прилавках, зачем-то нюхали их, даже картофель и морковь, с ходу шумно бранились с продавцами, а услышав цены, показывали на них пальцами, словно на диковинных зверей в зоопарке. Хорошо, хоть обратно не пришлось ехать автобусом – отец подобрал их на своем такси.

Вернулись они обратно только через четыре часа. Бедный Мовсюм, обеденное время которого Искендер вынужденно пропустил, лежал на своем матрасике в полнейшей прострации, театрально раскинув лапы в разные стороны и закатив глаза. Искендер испугался не на шутку. Стал его в чувство приводить, заметался по комнате, прикидывая, что теперь делать. В больницу бежать...? Только в какую? Какой врач на него смотреть станет, прихлопнет тапком — и все! К ветеринару, что ли...? В последний момент вспомнил про врача, про которого Абабиль в завещании написал.

– Давно он ел...? – спросила она, выслушав его сбивчивые объяснения. – Это у него гипогликемия, резко упал уровень глюкозы в крови. С учетом массы его тела... дайте ему грамм пятьдесят фруктового сока или четверть конфеты. А потом пусть обязательно поест. И вообще, старайтесь, чтобы он принимал пищу вовремя...

Выпив айвового компота, Мовсюм постепенно пришел в себя, после чего, воротя морду от извиняющегося Искендера, стал рассерженно барабанить лапой по краю коробки. Окончательно отошел он лишь к ужину, когда тетушки, наконец, подпалили кухню.

Что там толком произошло, выяснить не удалось. Но в результате толкотни вокруг газовой плиты загорелось чайное полотенце, огонь перекинулся на занавеску, пока в дыму сбивали пламя, сорвали карниз и залили пол кипящим бульоном. Вывалившаяся из кастрюли недоваренная курица вместе с двумя луковицами закатилась под диван. Очень шумно вышло. Соседи из квартир повыскакивали. Все, кроме гадалки и Марьям-ханым.

В ночь с понедельника на Вторник Земли проснулся Искендер от кошачьей возни. Вскочил на кровати и ошалел: вся комната от стены до дверей кишит черными котами! Сверкая глазами, шипят они, толкаются, шерсть дыбом стоит, хвосты распушили.

[–] Брысь...! – кричит на них Искендер, они и ухом не ведут.

- Брысь…! дурным голосом орет с края качающейся люстры Мовсюм. Тут, распрямившись, будто сжатая пружина, один из котов выпрыгивает с места, пытаясь дотянуться до него. Следом другой, третий. Промахиваются, падают друг на друга, визжат. Искендер хочет с кровати сойти, но внизу буквально ступить некуда, весь пол котами шевелится.
- Помоги, чтоб тебя...! орет Мовсюм, носится от одного края люстры к другому, от котов уворачивается. Искендер хватает подушку, начинает ею колошматить по изогнутым спинам шипящих тварей, и вдруг кошачьи когти глубоко впиваются ему в голую лодыжке, рвут кожу, брызжет кровь. Морщась от боли, Искендер отпрыгивает к стене. Коты следом на кровать запрыгивают, скалят клыки, острые, как шипы.
- Одеялом их, одеялом накрывай! подсказывает Мовсюм. Сдернув стеганое одеяло, Искендер набрасывает его на копошащихся внизу ночных тварей. И тут они завопили ужасно, в унисон, будто одним голосом, так что кровь в жилах застыла, под одеялом началась бешеная возня, а потом прямо в середине оно стало быстро набухать, подниматься вверх это под ним коты, запрыгивая друг другу на спины, выстраивались в подобие раскачивающейся башни, которая вскоре уже была почти вровень с люстрой. Оставшиеся еще на полу черные твари яростно карабкались по ней вверх.
- Прыгай! крикнул Искендер. И Мовсюм прыгнул. К нему метнулись ощетинившиеся когтями лапы, но Искендер оказался проворнее: поймал мышь прямо в воздухе и, прижимая ее к груди, с грохотом приземлился с кровати на пол.

И опять в комнате включился свет, на пороге стоял взъерошенный спросонья отец, но теперь, вместо мамы, из коридора на него испуганно глядели беззубые тетушки в цветных рубашках.

Царапины на лодыжке, кстати, оказались самыми настоящими, пришлось йодом мазать.

Наконец, наступил последний вторник.

Говорят, Вторник Земли – самый спокойный из четырех. Сразу после него – Новруз. Это когда день и ночь уравниваются, а жизнь и смерть становятся половинками одного целого, секунда в секунду. Как объяснял мишоппа, если одно отнять от другого, в остатке выйдет ноль. Это когда ни жизни, ни смерти нет, а есть лишь развилка на дороге. И вот, стоя на этой самой развилке, раз в году только и можно переменить судьбу.

Утром, как только отец ушел, выскользнул следом за ним и Искендер. Глупые тетушки и очнуться не успели. Пока они там на кухне придумывали и решали, за чем его еще в магазин посылать, Искендера и след простыл. Пусть теперь кудахчут, сколько им влезет. Ему не жалко.

Сбежал он на этаж вниз, но прежде, чем позвонить к Марьям-ханым, прислушался. Опять за дверью тишина. Ну, ни единого звука! Ни шороха! Не шипит, как раньше, масло в сковородках, ничего не булькает в кастрюлях, не хлопает дверца духовки. И запаха еды уже никакого не осталось. От волнения у Искендера вспотели ладони. Как же это может быть, чтобы на праздничный вторник Марьям-ханым ничего не готовила? Неужели и вправду уехала? Волнуясь, нажал он на кнопку звонка. Весело зазвучала знакомая трель...и ничего. Так же тихо, как секунду назад. Искендер обождал немного и снова позвонил, в этот раз настойчивее, наглее, требовательнее – палец на кнопке держал так долго, что он затекать уже начал, а когда отпустил – впору было расплакаться. Сел он потерянно на ступеньку, коробку со всеми так тяжело добытыми ингредиентами рядом поставил, стал думать, что делать ему дальше. В этот самый момент щелкнул засов соседней квартиры, дверь приоткрылась, и оттуда показалась кудрявая женская голова, темно-оранжевая от хны:

- Марьям-ханым ищешь, сынок? А ее нет, который день не вижу.
- Уехала, что ли?

Муж кудрявой соседки был военным, а дочь, на два класса старше Искендера, занималась гимнастикой.

- Уж не знаю, уехала или как, только из дома давно не выходит. И тихо очень.
- А... хотел было сказать что-то Искендер.
- Думаешь, что-то случилось? соседка высунулась из двери по пояс. Вот и я беспокоюсь, может, говорю, полицию вызвать...? Слишком уж тихо у нее. Ее кухня у меня за стенкой, слышно все хорошо: который день не готовит...!
 - Я..
- Вот-вот, все-таки одна живет, вдруг с сердцем плохо или еще что-то. И, как назло, прямо под праздник! Может, говорю, умерла, не дай бог...! вздохнула она. Лежит там сейчас, бедная... Запах уже есть?
 - Чего…?
- Как чего? возмущенно покачав головой из-за несообразительности Искендера, кудрявая соседка выбралась на площадку целиком и, подойдя на цыпочках к двери Марьям-ханым, стала ее по-собачьи обнюхивать.
- Вроде не пахнет еще, шепотом сказала она и как будто немного расстроилась. Акиф мой сказал, что полицию звать можно, только если запах будет... Так вроде пока не пахнет. А вдруг она в ванне померла? Или, не дай бог, в туалете... Стыд какой!

Тут вдруг дверь почти бесшумно распахнулась, и растерянная соседка оказалась лицом к лицу с Марьям-ханым.

– Ой, – всплеснула она руками, пятясь назад, – а я уже беспокоиться начала! Думала, не видно вас давно... не заболели ли....

Не зря она пятилась, скажу я вам! Марьям-ханым была не похожа на саму себя. Волосы ее, всегда безупречно уложенные, торчали теперь всклокоченными прядями во все стороны, словно в них влетела шаровая молния. Лицо было опухшее, как после долгого сна, и какое-то темное, очки сидели на носу криво, а фартук, повязанный поверх совершенно мятого платья, был весь забрызган то ли подсохшим томатом, то ли еще чем-то красным, неприятным. Вокруг рта залегли глубокие морщины, которые прежде не были видны. И даже ее глаза удивительного цвета на этот раз были почти совершенно бесцветными. Искендер даже оробел.

Неприязненно оглядев рыжеволосую, Марьям-ханым перевела на него взгляд и сухо сказала:

- Заходи.
- Я говорю, с наступающим вас праздником, дай бог внуки ваши... все лепетала соседка, но Марьям-ханым, не слушая ее, пропустила Искендера в квартиру и без всяких церемоний захлопнула перед ней дверь.

Зеркало в коридоре оказалось плотно завешенным белой простыней.

Раз уж пришел, пошли печь. – Шлепая босыми ногами, прошла она на кухню. В отличие от пустой ободранной комнаты, здесь всего было вдоволь: и мебели, и посуды. Все сверкало и блестело, каждая вещь, казалось, лежит на положенном ей месте. Весенний ветерок из открытой форточки покачивал веселые занавески в яркокрасных шашечках с рюшами, в горшке на подоконнике покачивал листьями разлапистый фикус, начищенные казаны и сковородки самых разных видов теснились плотными рядами на верху кухонных шкафов под цвет занавесок, шеренгами стояли нарядные баночки со специями, а стол был накрыт идеально белой скатертью. Все было настолько празднично и красиво, что Искендер невольно застеснялся своих заляпанных джинсов и носков с дыркой на пятке.

– Hy? – спросила она, не глядя на Искендера. – Все принес?

Спросила она не то, чтобы холодно, а вроде как устало. Словно появление Искендера было ей в тягость.

– Принес.

- Молоко, яйца, зерна?
- Все здесь.
- Хорошо, сказала Марьям-ханым и только тут опять посмотрела потухшим взглядом на Искендера.
 - Есть хочешь?

Он замотал головой. Марьям-ханым чуть пригладила рукой свои всклокоченные волосы:

– А я поем. Четвертый день голодаю... Сиди тихо, не отвлекай.

Молча вышла она на балкон и вернулась оттуда с огромной кастрюлей, в которой обычно готовят на множество гостей. Поставила ее на плиту греться и снова вышла на балкон. На этот раз вернулась с эмалированным тазом, накрытым сверху крышкой, оставила его на полу. Снова ушла, принесла еще один такой же. Достала из холодильника дуршлаг, в котором горкой лежали всякие овощи и пучки зелени, достала баллон с маринованными баклажанами, плошку йогурта, пачку сливочного масла, шмат белого сыра, а уж затем из ванной зачем-то принесла еще и пустое ведро, и главное, все молча, сосредоточенно, не глядя на Искендера. Устроилась Марьям-ханым за столом, поставила перед собой тарелку, облизнулась как-то похищному, и такое началось...!

В первом тазу оказались четыре запеченные куры со сладкой начинкой. Разрывая их руками, принялась она их есть, обсасывая чисто каждую крупную косточку, хрустела мелкими, горстями в рот начинку забрасывала, вместе с кусками курятины втискивала в себя за обе щеки соленья, пучки зеленого лука, огурцы, сыр, тянула губами йогурт из плошки. Брызгая соком во все стороны, раскусывала помидоры и жевала, жевала, как машина, перемалывая все подряд. Со всеми четырьмя курами так скоро управилась, что у Искендера только челюсть от удивления отвисла. Когда на тарелке остались одни кости, сбросила она их в ведро, стряхнула крошки с заляпанной скатерти и шумно рыгнула в салфетку. Лицо у нее при этом чуть посветлело, и даже морщины вокруг рта стали сглаживаться. Оттолкнув ногой пустой таз, пододвинула она к себе следующий. В нем оказались четыре запеченные в духовке рыбины, и тоже с начинкой. С ними Марьям-ханым разделалась даже быстрее, чем с курами.

Да что у нее там внутри, пустая цистерна, что ли? Как это все в нее лезет?

— Точно не голодный? — спросила Марьям-ханым, проглотив, словно комодский варан, не жуя, средних размеров помидор. Было видно, как, продвигаясь по горлу, помидор протиснулся внутрь нее. Какой тут может быть голод! От одного только вида еды Искендера уже слегка подташнивало. А она, заметно повеселев, подмигнула ему левым глазом, который, между прочим, из бесцветного снова сделался прежним, золотисто-медвяным. Не дождавшись ответа, утерла Марьям-ханым подбородок и губы краем скатерти и, сняв с плиты булькающую кастрюлю, поставила ее перед собой на стол. Кастрюля до самого верха была полна долмы из виноградных листьев. Опрокинув в нее остатки йогурта, она так набросилась на еду, словно до этого не съела ни крошки. Зачерпывала дымящуюся долму полными горстями, закидывала их себе в рот, будто семечки, и заглатывала быстрее, чем успевала зачерпнуть новую порцию. В какой-то момент принялась она даже работать обеими руками. Не женщина, а мельница! Еды было человек на двенадцать, не меньше, но очень скоро опустошила она и кастрюлю. Еще и хлебом весь сок подобрала. Только после этого, кажется, успокоилась.

– Ну, – сказала она, отдуваясь, – закусили, теперь можно и печь. На пустой живот печь нельзя никогда. Сейчас приберусь, сынок, и начнем.

Подхватив пустую кастрюлю с тазами, прошла она с ними в коридор, толкнув плечом, открыла дверь в комнату и, словно выбрасывая мусор, пошвыряла все туда. Туда же, как на помойку, полетели изгаженная вконец скатерть и заляпанный фартук. Зашла Марьям-ханым в ванную.

Не было ее довольно долго, Искендер успел заскучать, но все равно сидел смирно, все еще под впечатлением от увиденного, а уж когда она, наконец, появилась — ее было не узнать. Прежняя Марьям-ханым. Волосы опять словно только что из салона, на ней выглаженное зелененькое платье с желтыми цветами, поверх — сияющий белизной фартук, лицо светлое, чистое, веселое, в глазах знакомые искорки, смотрят на Искендера внимательно и чуть с насмешкой. У него прямо от сердца отлегло. Теперь пойди пойми, как это в одной небольшой Марьям-ханым два таких разных человека уместиться могут. Глядя на эту Марьям-ханым, ведь и в голову не придет, что другая может овощи целиком заглатывать, не хуже жабы из молочного колодца.

Обмахнула она чистым полотенцем стол, высыпала на середину горкой муку из пакета, добавила щепотку соли и обернулась к Искендеру:

– Ну? Чего сидишь? Доставай, что принес...

Дальше дело оказалось несложным. Разбила она яйцо в муку — хоть и от огненной птицы, но яйцо было самое обыкновенное, может, только желток темнее куриного, пшеницу в блендере в порошок измельчила, сверху насыпала, туда же нарезала кубиками подтаявший кусок сливочного масла, шафран, добавила ложку меда, стала подливать молока из колодца и быстро-быстро замесила тесто. А пока месила, напевала что-то незнакомое. Голоса у нее, может быть, особого и не было, зато слух оказался хороший.

Тесто вышло у Марьям-ханым плотное, яркое, будто глянцевый ком. Присыпав его мукой, убрала она его в миску «доходить», сверху чайным полотенцем накрыла и только тогда напевать перестала. Уткнула Марьям-ханым руки в бока и, глядя на Искендера, как всегда, поверх очков, сказала:

– А я ведь только сейчас отошла. Хорошо, что сам пришел, а то бы пропустили день. Я, конечно... – понизила она голос, – не Кебире какая-нибудь, но, если бы не твоя мама, я этих трех тупых куриц в порошок истолкла и в туалет спустила.

В глазах Марьям-ханым полыхнули такие искры, что Искендеру даже стало страшновато за бестолковых тетушек.

- Не веришь?
- Верю, быстро согласился он.
- Они бы и понять не успели, что с ними случилось! голос Марьям-ханым зазвенел от ярости. Им бы Кебире эта...

Она вдруг развернулась к газовой плите, над которой на нити, зацепленной за край вентиляционной решетки, покачивался тот самый глазастый и черный, как смола, паук, и, резко выбросив руку, схватила его. Искендер отчетливо услышал, как паук, хрустнув у нее в кулаке, будто ореховая скорлупа, громко пискнул. Марьямханым разжала ладонь: раздавленное насекомое, тараща на них стеклянные глаза, еще дергало конвульсивно мохнатыми лапками.

– Им бы эта Кебире детским садом показалась, – усмехнулась Марьям-ханым, отряхивая остатки паука-шпиона в мусорное ведро. – Знаешь, почему это...?

У Искендера запершило в горле, а во рту пересохло так, что языком было неприятно ворочать. Привстав с табурета на ватных ногах, он выдавил из себя едва слышно:

– Вы тоже... как Кебире...

Марьям-ханым удивленно вскинула брови.

– Ведьма, что ли...? Да нет, сынок! – рассмеялась она, поправляя на носу очки тыльной стороной пухлой ладони. – Да ты сам посмотри, какая из меня ведьма! Что ты...! Просто приятная женщина на пенсии, с хорошим аппетитом. Садись... Садись... Нечего, как столб, стоять.

Подойдя к кухонной раковине, она пустила воду и стала тщательно намыливать руки.

– Вот бабка моя, покойная, та точно была самая настоящая. Ее, как собаку, боялись. И правильно боялись. Ходила вся в черном, старая такая была, что на подбородке уже борода расти начала. Точно тебе говорю! По паспорту ей сто семнадцать лет получалось, а на самом деле все сто шестьдесят! Сейчас я тебе ее покажу...

Насухо обтерев руки полотенцем, соседка приставила к кухонному прилавку стул и вскочила на него, как девчонка, несмотря на комплекцию и количество съеденного, без всякого «аханья» и «оханья». Из верхнего шкафчика достала она большой семейный альбом с фотографиями в каком-то пушистом переплете. Продолжая стоять на стуле, перелистала назад несколько страниц.

- Иди сюда! Сам взгляни.

На старинной фотографии цвета темной охры с залихватской подписью снизу «Ателье М. Шамраева» ровно сидела тощая старуха с руками на коленях в многослойной бесформенной одежде, из-под края келагаи выглядывало ее лицо, больше похожее на обтянутый кожей череп с недобрыми глазами, уставившимися прямо в объектив. За спиной у нее была разрисованная каким-то пейзажем стена, а сбоку – большое зеркало. Искендер пригляделся внимательнее: сомнений не было – то самое зеркало со странной рамой, которое в прихожей висит!

- Точно, точно... Заметил! Зеркало от нее досталось. Видишь, какая? Только в глаза ей долго не смотри, приснится потом. Марьям-ханым резко захлопнула альбом и сказала очень тихо. Она и после смерти никак не успокоится, возьмет иногда, да и появится.
 - Как это появится?

Соседка посмотрела на него внимательно:

– Кто как, а эта в зеркале. В ее зеркале.

Положив на место альбом, она спрыгнула со стула.

- Ходила только прямо, будто кол проглотила. Ветер могла на ночь вызывать. Точно тебе говорю! Сама видела. Просто так, для забавы. Скучно ей становилось, так она ураган устраивала. Извини уж, конечно, что такое рассказываю грудь у нее почти до колен висела. На плечи приходилось закидывать и подвязывать. Как и положено настоящим ведьмам... И умерла не по-человечески. От скуки.
 - От скуки?
- Ага! Что-то все ей вдруг надоело. Встала утром, как всегда, выпила девять сырых яиц перед завтраком, а потом вдруг говорит: пойду умру, скучно что-то, сил нет. Легла и умерла. Вначале думали, что спит. Такое с ней бывало, могла спать три дня подряд. А когда с нее кожа слазить начала, похоронили. Под кожей у нее ни грамма плоти не было кости и сухожилия одни... Да садись уже, чего стоишь? Испугался?
 - Нет, покачал головой Искендер, хотя мороз по спине пробежал.
- А мне от нее только хороший аппетит и достался. Ну, и знания кое-какие. Не проголодался?
 - Нет! Нет!
 - Ладно, чайник пока поставлю. Тесто вот-вот подойдет.

Подсела Марьям-ханым к столу, задумалась ненадолго.

– А тетушки твои, уж извини, дуры безмозглые. Это же хорошо, что я сдержалась, а то если мне хвост как следует прищемить, ничего уже перед собой не вижу. Редко такое бывает. Но если случается – самой потом страшно становится. После переживаю, простить себе не могу, но поздно. Ты думаешь, чего это я без мужа одна осталась? Ведь у меня муж был, и очень даже ничего, старший бухгалтер на стекольной фабрике. Кроссворды любил разгадывать. Гостей домой собирал. Я принимала с удовольствием. Однажды только ошибся... – поправила Марьям-ханым очки на носу, покашляла, – ...спутался с одной там из своей конторы. Ты мальчик большой, понимаешь, о чем говорю. Хотя, конечно, не твоего ума это дело... А я молодая была.

И понесло меня.... Вспоминать страшно. Помню, стою посередине комнаты, не двигаюсь, в глазах темно, в голове туман, а вокруг стулья, книги, подушки, занавески хороводом носятся, как будто их ветром крутит, не веришь...? Посуда побилась вся. Мы раньше с ним в большой квартире на Монтино жили. И зеркало то, что сейчас в коридоре, тогда в гостиной висело. Сколько я так стояла — не знаю, а когда в глазах немного посветлело, глянула я в зеркало: а вместо меня там бабка моя покойная собственной персоной улыбается, ведьма проклятая. Не скучно ей на том свете...! Улыбается и язык мне показывает, мол, не забывай, чья ты внучка есть. Никуда от себя не спрячешься. Тебя обидели, и видишь — все темное в тебе пробудилось. Я за голову схватилась, думаю, что же это я натворила? Квартира как после погрома. Ни одного стекла целого не осталось. Потолок закоптило как после пожара, соседи в дверь колотят, а муж мой бедный в кресле скрючился, за сердце держится. Вызвала «скорую», в больницу поехали, врачи сказали, обширный инфаркт. Через семь дней умер. Так я без мужа осталась. Еще кое-что скажу...

Марьям-ханым наклонилась над столом и, буравя взглядом молчащего Искендера, сказала вполголоса:

— Я уж только потом узнала: дура та, с которой он спутался, в тот же день под грузовик попала. До сих пор без костылей до туалета дойти не может. Я, думаешь, радовалась...? Радовалась, конечно, но только самую малость и недолго. Слово себе дала: что бы ни случилось, бабку проклятую, которая во мне по наследству засела, наружу не выпускать, пусть лучше со скуки сдохнет, чем такое безобразие устраивать! Ведь вся жизнь наперекосяк пошла, пироги печь некому. Совсем одна я в этой бетонной коробке, сколько лет уже... А в тот день, когда родственницы твои меня рассердили, не знаю, что на меня вдруг опять нашло. И дело-то ведь пустяковое было, курицы глупые, что с них взять, но спустилась я к себе, подошла к зеркалу и вижу, опять ее лицо сквозь мое проглядывает! Испугалась, быстро валерьянки выпила, сразу четыре таблетки «донормила», на всякий случай в комнате заперлась, подушками голову обложила, уснула кое-как. Так и спала с того дня, пока ты в дверь трезвонить не начал. В общем, повезло тетушкам...Сейчас, слава богу, у меня уже и злости не осталось. Тьфу на них! Однако заболтались мы с тобой, братец, пора делом заняться.

Поднялась соседка с места, поправила фартук, взяла с холодильника миску с тестом, откинула полотенце.

- Красивое получилось.
- Марьям-ханым...
- Чего? Проголодался? Дам пахлавы с чаем?
- Нет... Мишоппа... Абабиль...
- Hy?
- Он, что, теперь... умрет?

Соседка обернулась к Искендеру, вздохнула:

- Эти не умирают. Деревенеют только. Так у них положено. Я думаю, хорошо это, все-таки лучше, чем в холодной земле навозом лежать.
- Не хочу! с жаром сказал Искендер. Как его спасти...? Все сделаю, вы только подскажите! Если надо куда залезть, забраться, достать что-нибудь, я готов!
- Эх! вздохнула соседка и погладила его по коротким волосам. Никак ты в толк не возьмешь, сынок. Не всех можно спасти, да и не всех надо. Это ведь только врачи клятву Гиппократа дают. Им по профессии положено лечить всех подряд, даже тех, кого уже и лечить нельзя и не нужно. А в жизни все по-другому устроено. Может, друг твой мишоппа и не хочет, чтобы его спасали. Ты у него самого хоть спросил? Может, он сам в корягу превратиться мечтает...
- Кто же захочет дурацкой корягой стать? возмутился Искендер. Только псих какой-нибудь...

– Ты даже не представляешь себе, как много тех, кто мечтал бы в корягу обратиться. Когда жить противно становится, коряга – не самый худший вариант, – улыбнулась соседка. – Возьми хотя бы бабку мою, например. Так ей противно от скуки сделалось, что она и померла. И не спросила никого. Хорошо, что закусила перед смертью. На пустой живот как-то не то. Вот, может, и Абабилю твоему все надоело. Сам подумай, сколько же можно от сводной сестры бегать? Да еще такой паскудной, как наша Кебире...

Искендер от удивления икнул.

— ...по пустырям и помойкам и с деревом прятаться — кому хочешь, надоест. Запомни, братец: те, кто всех спасать рвется, вроде тебя, делают это потому, что это им самим нужно, а не тому, кого они спасать собрались. Вот ты думаешь, маме твоей, бедняжке, в ее состоянии так уж сильно жить хочется? После всей этой боли и мучений? Смерть ей сейчас избавлением кажется. Благом. Заснула бы, и все. Это она за тебя переживает, потому и продолжает за жизнь цепляться. Ты ее как канатом привязал и держишь. И еще страх. Только страха с каждым днем все меньше становится, а ты — вот он, перед глазами! В колодец лезешь, древнюю жабу тревожишь, с покойниками по микрорайону шастаешь — все знаю! Доложили уже. А все почему? Потому что тебе это очень надо, а не ей. Вот такая, братец, правда...

Искендеру бы задуматься о словах соседки, но кто в его положении такое принять согласится? Упрямо тряхнул он головой:

- Все равно! Пусть так, пусть мне это нужно... Как спасти мишоппу? Не хочу, чтобы он корягой стал, и все!
- Xм! хмыкнула Марьям-ханым и поцокала языком. Не зря все говорят, что ты осел упрямый и, как любой осел, невоспитанный.
 - Лучше, что делать, скажите!

Соседка задумалась. Золотистые глаза ее остекленели, словно мутной пленкой подернулись, замерла, уставившись в одну точку на стене. Будто шнур выдернули из розетки. Искендер заволновался, чего это с ней?Может, не все снотворное из нее вышло или наоборот, озвереет сейчас, как сама рассказывала. Перевел он взгляд туда, куда Марьям-ханым глядела — просто стена. Тихо окликнул ее по имени — не отвечает. Сидит за столом, как статуя. Даже как будто не дышит. Оцепенела.

Долго Марьям-ханым так сидела, несколько минут точно. Потом встрепенулась, лицо опять ожило, глаза засверкали.

- А ты хоть знаешь, чего это Кебире к мишоппе твоему прицепилась?
- Я спрашивал, он не говорит...
- Еще бы! воскликнула она. У него свой резон есть, не говорить. Хитрый этот мишоппа, сил нет! А хочешь узнать, почему...?

И рассказала. В самых, между прочим, подробных деталях, о которых только близкие люди знать могут. Да еще так рассказала, что Искендер все как на экране увидел. Но об этом, пожалуй, потом. Сейчас с хлебцем надо бы разобраться...

Закончила она свой рассказ и спросила, прищурившись:

- Ну, что, милый, все еще думаешь Абабиля спасать?
- Абабиль мне брат, твердо ответил Искендер.
- Ну, раз так... вздохнула Марьям-ханым. Дело это непростое. Даже невозможное, если подумать. Друг твой ее словом и ядом помеченный, остановить это уже нельзя, никакой хлебец в мире не поможет. Так уж все, понимаешь, устроено. С мамой твоей все проще: заклинание обычное. Сильное, но обратимое. А с мишоппой совсем другая история. Тут она саму смерть вызвала. Уж не знаю, через зеркало или воду, а может, еще как-то, способов много, братец, я хоть сама и не ведьма, и то штуки четыре знаю.

Вскинула она бровь и посмотрела на Искендера так, что у него опять мурашки по спине побежали.

- Теперь, понимаешь, либо ведьму, либо мишоппу но кого-то одного смерть с собой утащить должна. Другого варианта нету. Долго сейчас объяснять, почему так, да и не все тебе знать нужно. Но в этом деле правила такие особые.
- Тогда убить ее надо, и все... Воздух чище станет! насупившись, сказал Искендер.
- Ну, ну! Убить... покачала она головой. Правильную ведьму просто не убъешь, если она сама не захочет. А Кебире ведьма самая что ни есть правильная. Профессиональная. Со стажем. В ней два ведра яда и литров семь желчи плещется. И лет ей больше, чем всему четвертому микрорайону. Ты еще ее в молодости не видел. Тогда с ней совсем сладу не было. Если мимо кладбища шла, мертвецы прочь разбегались. В шестьдесят восьмом году на моих глазах начальника склада фабрики Володарского Шамиля Мамедовича в карданный вал от трактора МТЗ превратила. Такой видный мужчина был! Всегда выбритый, умытый, никакой грязи под ногтями... Эх...! С возрастом сил она, конечно, подрастеряла, но все равно близко к ней не подойдешь... Иди-ка сюда! поманила она его пальцем. Искендер перегнулся через стол, и Марьям-ханым зашептала ему на ухо:
- Вот если бы волос ее достать, хоть немного, тогда кое-что, может, и получится.
 - Просто волосы?
- В том-то и дело, что не просто это. Она даже одежду свою на балконе не сушит, опасается. Знает, что будет, если потерять что-нибудь из своего...! А уж гребни и расчески всегда только при себе держит, в специальной шкатулке. Черной, полированной, с замочком. Где ни сядет, рядом с собой поставит на видном месте. Туда же волосы свои собирает, когда перед сном расчешется. Что уж потом она с ними делает, я не знаю. Но точно не выбрасывает. Так что до них нам не добраться... Понял?
 - Что же делать тогда?

Марьям-ханым руками всплеснула, рассмеялась, в глазах хитрые искры сверкнули:

– Как что...? Печь будем, конечно! Самое верное дело! Бабка моя, ведьма старая, так учила: если не знаешь, что делать – начни печь, если и не придумаешь ничего, так хоть голодным не останешься.

И добавила:

- Заодно пахлавой с чаем закусим, в пустом желудке мыши заводятся, как сказал бы мой племянничек Вахаб.
- ...Хлебец, скажу я вам, вышел что надо, прямо как на рекламных постерах: идеально круглый, с глянцевой от яйца верхней корочкой, пахло от него молоком и сладостью на всю кухню.

Рассказ Марьям-ханым

А теперь, как обещал, вот что Марьям-ханым Искендеру рассказала. Но сразу предупреждаю, чтобы потом не возмущались: для удобства и экономии многое сократить пришлось, слишком уж мало времени до праздника осталось!

Значит, так:

...За два года до смерти папаша Абабиля, которому тогда еще совсем мало лет было, новую жену с ярмарки привез. Не удивляйся, братец, и не такое в жизни бывает. Привез с маленьким чемоданом и аккордеоном. Но, прежде чем в дом ввести, сначала у первой жены, то есть матери нашего мишоппы, как у них это положено, разрешения спросил. Она понятливая была, возражать не стала и новую жену хорошо приняла, вроде как младшую сестру. Да и та на деле оказалась женщиной чи-

стоплотной, хозяйственной, культурной. А что еще надо? Талия тоненькая, зато ноги крепкие, виноград на уксус давила так, что не успевали бутыли подставлять. Волосы особыми травами мыла, которые сама где-то на холмах собирала. Вечерами на аккордеоне «Амурские волны» играла. Уколы умела делать. Только жару плохо переносила. Это потому, что глаза у нее и так светлые были, северные, как две стекляшки, под стать ее волосам, а в августе в самое пекло прямо белыми становились.

В общем, через пять месяцев девочка у нее родилась. Все, конечно, сказали, что не выживет. Только сильно ошиблись! Еще как выжила! Мать ее каждый день особый хлеб пекла с куркумой и маком, мякину выковыривала и ребенка в хлеб укладывала, как в люльку. Говорят, она еще в тесто кровь свою добавляла, палец ножом протыкала. Так и выходила. Главное, девчонка ни капли на мать не походила. Та была, как сметана, ложкой есть можно, женщины в бане видели, а эта чернявая, крикливая, родилась сразу с кудрями, как у взрослой женщины, и еще притом со всеми зубами! Полный комплект. Так что пришлось ее сразу с ложечки кормить. Не выдирать же зубы. В полтора месяца отродье это ходить начало. Какое там ходить, носилась повсюду! И всех подряд кусала. Кроме матери своей. До крови, до кости укусит и хохочет. Ковры, косынки, шали, занавески — все в клочья раздирала. Пес у них во дворе размером с маленькую лошадь жил, Гошкаром звали, ухо ему наполовину откусила, когда он ее вокруг дома катал. С тех пор он, как ее видел, пятый угол себе искал, где спрятаться.

...Перед Новрузом дед Абабиля с бабкой, которые на чердаке, поближе к запасам жили, в один день не проснулись. Обоим лет двести было, не старые еще. На каждый праздник три ведра риса запросто могли умять, еще и место оставить для сладостей. Они обычно от этот кусачей стервочки на засов запирались. Однажды как-то недоглядели, так она на чердак к ним влетела, кожаный патронташ и кирзовые сапоги в ошметки изгрызла. Дед Абабиля, естественно, озверел, за волосы ее оттаскал, а она, извернувшись, ему фалангу пальца напрочь откусила. Чуть не прибил он ее тогда, с трудом мамаша ее оттащила. И ровно через два дня после этого оба старика утром не проснулись. Пришли их к завтраку будить, а на подушках две черные коряги лежат. Та, что ближе к стене, в ночной рубашке, а другая — в майке и теплых трусах с начёсом. Представляешь...?

И посыпалось, как из драного мешка! Не успели по старикам поплакать, Мовсюм вдруг с мышиной болезнью слег. А он всегда насчет здоровья очень внимательный был. Прививки все вовремя делал. Манную по утрам ел. Водку пил только на майские выходные. Он же до болезни на агронома учился в Кировабаде. И вдруг с такой гадостью слег. Когда его к волосатому дервишу повезли, у матери Абабиля в дороге горлом кровь открылась. Хлестала, как из крана. Кляпом пришлось затыкать. Тут еще молоко в доме стало киснуть. Во всех крынках и бидонах один сплошной творог. И тот прогорклый. Самое свежее молоко через минуту сворачивалось. А когда по ночам маленького мишоппу во сне кошки душить начали, он чуть не онемел: слово сказать хочет, а из рта сразу комочки шерсти лезут. Тут мать его что-то такое заподозрила.

Короче говоря, выследила она новую жену, когда та в матрас Абабиля мерзость всякую запихивала: птичий помет, велосипедную цепь, голову черной курицы, фото Сталина с выколотыми глазами, ржавый замок, сопли какие-то в пузырьке. Как говорится, доказательства налицо. Отец мишоппы, увидев все это, чуть ума не лишился, схватил новую жену, стал по щекам ее хлестать, тут отродье ее на ногу ему запрыгнуло, как обезьяна, и пока он от себя ее отодрать пытался, искусала в кровь! Все в горло ему хотела вцепиться. Раны на руках нитками зашивать пришлось.

В тот же вечер затолкал он свою светлоглазую ведьму вместе с ее аккордеоном в мешок и на ветку Карагача подвесил. Собирался утром обратно везти туда, где взял. А девчонку хотел у себя оставить, дочь как-никак.

Но пока они спали, девчонка в двери дыру прогрызла, из дома выбралась, мешок разодрала и вместе с матерью сбежали.

Соседи потом рассказывали, что видели, как мать с дочерью, будто дикие звери, по холмам на четвереньках скачут. В одном тряпье каком-то, почти голые. Еще за рекой объеденных телят и овец находили. Думали, волки или собаки их подрали, только следы вокруг человеческие были. Одни крошечные совсем, вроде детские, другие побольше. А через несколько месяцев отец мишоппы на болоте утонул. И без них тут не обошлось: пока его, значит, ночью из болота тянули, говорят, далеко в лесу кто-то играл «Амурские волны» на аккордеоне. Такая вот жуть.

Надо тебе знать, что у этой зубастой сводной сестры Абабиля целых 98 имен. На одно только меньше, чем у самого мишоппы. Это потому, что он старше. Отец их на имена щедрый был. Хотя, конечно, дурак, в женщинах плохо разбирался. Но первое ее имя, самое главное — Кебире! Так что с соседкой твоей проклятой мишоппа брат и сестра получаются. Такие вот чужие семейные разборки, в которые ты, сам того не зная, влез по неосторожности.

Сила в ней темная, ужасная. Злоба ее переполняет. На мишоппу, на родителя покойного, на весь свет. И ничего ей не страшно, и никого она не боится! Только мышей, конечно. Но этих многие женщины не любят. Спроси у Мовсюма. Я редкое исключение. По мне — ерунда все это. Мышь, не мышь, главное, чтобы человек был стоящий.

Глава пятнадцатая

Волосы Ведьмы (Накануне Новруза)

Вот и наступил праздник! Дожили! Еще один год прошел. Куда это, спрашивается, мчимся? Годы как в копилку складываем, все надеемся потом на стол перед собой вывалить, спокойно пересчитать, взвесить каждый, как золотой песок. Задокументировать. Только пустая это надежда. Как Абабиль говорит: в копилку не годы забрасывать надо, а деньги бумажные, постельное белье, ну, и приятные воспоминания. Как же без них! Только с последними расторопнее быть надо, очень уж материал ненадежный, того и гляди, выдохнется, если крышкой плотно не закрыть. Как одеколон. Поэтому лучше всего их аккуратно на листочках записывать или на камеру телефона снимать. Случится что-нибудь хорошее, сразу доставай телефон. Потом на досуге посмотришь. Веселее от этого не станет, но зато не так скучно будет, как покойной бабке Марьям-ханым.

Тьфу, ты, опять я оговорился! Конечно, не праздник наступил, канун праздника! Сам праздник-то после полуночи явиться должен. Но все одно...

И вот пока все, кому ни лень, в микрорайоне с раннего утра к вечернему застолью готовились, в квартире Искендера усатый сантехник разводным ключом и ножовкой орудовал. А что еще делать? Неуемные тетушки так постарались, что теперь и в ванной канализация совсем встала. Мало им было кухни. На полу вонючая вода повсюду, раскуроченные трубы из-под раковин щетинятся, сантехник густой ус зубами прикусывает, понять ничего не может. Тетушки немного присмирели после того, как отец на них прикрикнул, нахохлились, словно куры, на краешке дивана сидят, как на жердочке, перед ними тазы на журнальном столике с рисом, мясом, луком – режут, чистят, перебирают. Вздыхают по очереди. Одна начнет, следом вторая, потом третья. По кругу. И жалко их, бестолковых, – отец реально очень уж на них наехал, как школьниц на всю квартиру отчитывал, – с другой стороны, проку от них никакого, бардак один. Сестра их старшая, бабушка Секине, все-таки поумнее была. Скорее бы уж уехали они обратно в свою деревню.

До полудня провозился сантехник с канализацией. А в половине первого, как уговаривались, соседка позвонила, попросила отца, чтобы Искендер в магазин сбегал. Искендер уже готовый был. Куртку спортивную с капюшоном, которая ему на размер больше была, заранее надел. Она на нем мешком висела – то, что надо! Еще и карманы глубокие и мягкие, Мовсюму будет удобно.

Выскочил он из квартиры, глянул в просвет между этажами. Вроде тихо. Марьям-ханым знает, о чем говорит, Кебире на праздники не принимает никого. Особенно на такой, как сегодня. Стал он перепрыгивать через ступени, совсем, было, забыл, что в кармане у него пожилая мышь сидит, но та о себе ему сразу же и напомнила, прямо сквозь куртку пребольно куснула. Искендер вскрикнул от неожиданности, чуть ногу не подвернул.

– Заходи, заходи! – Марьям-ханым открыла сразу. Видно, за дверью уже ждала. – Ну, что, готов ты? А где... приятель твой?

Мовсюм из кармана морду чинно высунул, кивнул соседке, с праздником поздравил, извинился, что без подарка пришли. А как любезностями с ней обменялся, вскарабкался по куртке к самому лицу Искендера и, потрясая кулачком, злобно шикнул:

– Еще раз будешь, как козел, прыгать, искусаю...! Так и знай! Сколько можно предупреждать! – и, обернувшись к соседке, нажаловался: – Вы извините, ханым, но ведь все кишки растряс, проклятый! Верите, чуть завтрак из меня не вышел... Летишь, как Гагарин в центрифуге.

Марьям-ханым посочувствовала Мовсюму:

– Ай, ай, ай! Молодой он еще, в голове один ветер. В самом деле, братец, что это ты? Забыл, что мы люди пожилые...

Главное, говорит вроде серьезно, а сама улыбку прячет. Еще бы, попробуй не улыбнись, когда мышь с плешиной, поперек которой тщательно начесана длинная прядь, чтобы лысину меньше видно было, из себя выходит. Уж побрил бы голову, в самом деле, совсем наголо, чем позориться. И удобно, и брутально!

Собрались они, наконец, и пошли. Марьям-ханым в нарядном платье темно-зеленом, сверху красивая накидка с люрексом (Агоппа бы позавидовал), туфли новые надела, лаковые, рядом Искендер с тяжелым подносом, накрытым сверху салфеткой, в кармане у него Мовсюм. Спустились они до первого этажа. Молча, ни слова друг другу не сказав, как будто не в гости собрались, а на поминки. На втором этаже сосед с пустым мусорным ведром им повстречался. С праздником поздравил, и они его. Он от любопытства чуть шею не вывернул. Очень уж сосредоточенно они по лестнице спускались.

Переглянулась Марьям-ханым с Искендером, накидку блестящую, как змеиная чешуя, поправила и коротко в дверной звонок позвонила. Ждали они после этого недолго. В коридоре свет включился, кто-то в глазок посмотрел. Послышалось, как за дверью двойняшки между собой шушукаются, возятся, видимо, друг друга отпихивают, чтобы до глазка добраться. А Марьям-ханым для надежности еще раз позвонила. Двойняшки шушукаться перестали и едва слышно — на цыпочках, что ли, — от двери отошли. Искендер вопросительно посмотрел на Марьям-ханым.

 Сейчас, сейчас, – ободрила она его в ответ, – идут сестре докладывать. Без нее там даже мышь не проскочит...

Услышав такое, Мовсюм недовольно заворочался в кармане. Не понравилось ему про мышь.

Прошла еще минута. Или больше. Двойняшки к дверям вернулись, но уже подругому: шумно, издалека наперебой выспрашивая «кто там», будто до этого в глазок не они смотрели.

Я это, девочки, Марьям-ханым, соседка...
 Защелкали замки и задвижки.

– С праздником, красавицы мои! – сказала она самым елейным голосом, на который была способна, просто патока, аж во рту приторно сделалось. – Кебире-ханым дома? Дельце у нас к ней небольшое...Уж извините, что на праздник беспокоим, очень уж нужно.

«Красавицы» мерзкие плечами повели, от комплимента носы кверху задрали, а сами на Искендера дружно покосились. У каждой родинка над губой, словно муха на стене, так и хочется прихлопнуть! Переминаясь с ноги на ногу, Искендер кивнул, будто подтверждая слова Марьям-ханым.

- Сестра...!
- Сестра...! обернулись они в полутемный коридор и наперебой стали объяснять:
 - Тут соседка...
 - ...Марьям-ханым с сыном...
 - ...Джамили пришли...
 - ...просят принять...
 - ...очень!

Повисла небольшая пауза. Искендер от волнения вспотел: как ни крути, а заходить в квартиру гадалки было страшно (хотя не скажу, что страшнее, чем нырять в колодец). Да и Марьям-ханым, кажется, волновалась не меньше. Опасное они дело затеяли.

В дверях комнаты показались два жирных кота.

- Ладно, пусть проходят, если уж пришли!
- Ой, спасибо тебе, соседка! облегченно вздохнула в ответ Марьям-ханым, проходя в коридор. Еще раз прощения просим, что беспокоим в праздник...

На первый взгляд, квартира гадалки показалась Искендеру самой обыкновенной. Уж не знаю, чего он там себе нафантазировал, чего увидеть ожидал, квартира, как квартира. Может, разве что темная очень из-за плотно зашторенных окон, и как будто зеркал многовато. На каждой стене по одному висит, друг друга отражают, от этого в глазах даже не двоится, а сразу четвериться начинает. И только когда к большому обеденному столу подсели, огляделись, сообразил Искендер, что тут не так. Каждой вещи в комнате оказалось строго по паре: два кресла, два буфета (вместо посуды в них одни фарфоровые куклы, пялятся на тебя с каждой полки нарисованными глазами), два коврика на полу, две пластмассовые пальмы по углам, две настольные лампы, сестры-двойняшки вокруг крутятся, люстра какая-то, тоже двойная, даже котов и тех пара, хотя из-за зеркал казалось, что целое стадо пасется. Короче говоря, с ума можно было сойти от всей этой симметрии!

Гадалка, возлежавшая на подушках в чем-то черном, бархатном и с косынкой, повязанной на голове, при их появлении присела на диване:

- Уж извини, соседка, голова с утра раскалывается.
- Неужели приболела, Кебире-ханым, ай-ай! всплеснула руками Марьям-ханым. Как же нехорошо, и прямо на праздник! А я тут пекла, дай, думаю, зайду, поздравлю по-соседски.
- A ты разве не знаешь, что у меня на праздники всегда голова болит? спросила гадалка, морщась. Девочки…! Чего без дела стоите? Подайте чай.

Двойняшки наперегонки бросились вон из комнаты.

- Все эти хлопушки проклятые! покачала головой Марьям-ханым. Спасенья от них нету. Сколько же можно палить...
- Ладно, Марьям-ханым, не тяни, рассказывай, что за дело ко мне у тебя вдруг появилось, не про хлопушки же ты ко мне разговаривать пожаловала. Еще и не одна пришла...

Тут только в первый раз за все это время глянула она на Искендера. И опять его морозом проняло. Болит голова или нет, а взгляд у нее все тот же пронзитель-

ный, колючий, словно под кожу тысячи мурашек вползают. Выдержать его невозможно. Хуже, чем у всякой колодезной рептилии, чтоб я сдох!

- Как мама твоя? спросила она холодно и, поднявшись с места, подсела к столу напротив них. Но прежде, чем сесть, с кофейного столика взяла с собой резную шкатулку все точно так, как Марьям-ханым рассказывала! Прямо перед собой поставила. Все болеет?
- Болеет! Ужас, как болеет, бедняжка! торопливо ответила за Искендера Марьям-ханым. Такое несчастье...

В это время близко за окном подряд сразу несколько петард рвануло.

– Чтоб руки отсохли...! – поморщилась Кебире, натягивая платок на лоб пониже.

Чувствует Искендер – коты на него зелеными глазами глядят, трутся у его стула, все принюхиваются подозрительно, жирные хвосты, как антенны, стоят. Наверняка Мовсюма учуяли! Он хоть и не мышь, и мышами пахнуть не должен, но кто ж знает...

Двойняшки тем временем к чаю стол накрыли. Вначале скатерть расстелили, такую Искендер раньше не видел: скатерть плотная, вся в черно-белых квадратах, как шахматная доска. Стали с подносов выкладывать вазочки с вареньем, стаканы, тарелки, и каждую вещь аккуратно в отдельный квадрат ставят. Расставили все быстро, идеально, друг напротив друга, опять симметрия проклятая! Даже варенье в вазочках подали не из обычных ягод, а из арбузных корок, нарезанных ромбиками, хорошо еще, стаканы не квадратные оказались.

Двойняшки накрывать закончили, молча в сторонке встали, а Кебире стол внимательным взглядом окинула, блюдечко одно слегка пододвинула, ложечку переложила, удовлетворенно кивнула и пальцами щелкнула. Двойняшки опять, как по команде, бросились на кухню, прибежали обратно с янтарным мундштуком с уже заправленной в нее сигаретой. Кебире мундштук с сигаретой приняла, от поднесенной зажигалки закурила и закрутила сизый дым в причудливую спираль над столом.

– Ну? Так что вдруг за дело у тебя ко мне, соседка?

(Если уж шахматная доска, то кто за черных играет, без слов понятно!)

- Ой, Кебире-ханым, только ты и можешь помочь! Не зря про тебя говорят, что ты великая целительница! льстиво ответила Марьям-ханым, подвигая свой стакан на одну клеточку вперед, однако ни прежней сладости в лице, ни в голосе ее уже не было. Наоборот, кожа вокруг глаз в хитрые морщинки сложилась.
- Так ведь я не только излечить могу, насмешливо парировала гадалка, а и наказать, если надо. Да так, что день ночью покажется. Ко мне за разными вещами ходят. Неужели не знаешь?

Выпустила она еще одну струйку сигаретного дыма, но теперь вместо спирали свернулась она в подобие ватного кома и повисла темной тучей прямо под люстрой.

- Да что ты, Кебире-ханым, на себя наговариваешь? Все знают, добрее тебя человека нет! Вон сколько к тебе народу ходит, каждый день очередь...
- Ну, а если так, что же ты, соседка, все мимо двери моей бегаешь, как будто квартира моя заразная? Никогда не остановишься, не поговоришь...

Искендер был не совсем уверен, но показалось ему на секунду, что в сигаретной туче над столом сверкнула крошечная молния. Может, еще и дождь хлынет?! Какой получится фокус, хоть в интернет выкладывай! Ой, не просто с гадалкой дело иметь, что ни ход, то ловушка, пришлось Марьям-ханым свой стакан обратно на белую клетку передвинуть.

– Да что ты! Я бы и рада зайти, только ты все время занята! Как мимо ни пройду – люди ждут... Что ж, мне тоже в очередь становиться? А моя дверь для тебя всегда открыта, только-то на один этаж подняться, заходи, когда хочешь! Свежая выпечка и чай у меня всегда найдутся.

Дымная тучка над столом качнулась и рассеялась. Марьям-ханым с наскока не возьмешь. Кажется, и гадалка это поняла: кивнула холодно, спросила снисходительно:

- Ладно, зайду как-нибудь, раз приглашаешь. Ты говори, зачем пришла?
- А разве я не сказала?
- Да нет.

Марьям-ханым полные локти на край стола выставила, над розеткой с вареньем нависла:

– Не для себя прошу, Кебире-ханым, и даже не за Джамилю – мальчика жалко. Нельзя ему без матери остаться.

Искендер на стуле поерзал. Покосился на котов, сидящих прямо посередине комнаты: хвосты у них по-прежнему столбом стоят.

Я-то что могу сделать? – вскинула Кебире толстую, как зубная щетка, бровь.
 Тут с врачами решать надо. Говорят, они сейчас чудеса творят.

Затянувшись, выдула она вверх голубое марево, из которого отчетливо выглянул череп с пустыми глазницами. Криво ухмыльнувшись, он через секунду рассеялся.

– Трудно ему, конечно, придется. Кто спорит? Джейхун – парень хотя и спокойный, но не очень расторопный. Работает много. Только, соседка, и без матерей дети растут. Они же, как сорняки, к любой погоде приспособлены. Заодно и поумнеют быстрее.

Уставившись на нее, Марьям-ханым сцепила пальцы перед собой в замок, заговорила с жаром:

- Молодая она еще умирать, Кебире-ханым! Не сироть мальчика, прошу тебя! Прости ее, ради бога! Ты женщина сильная, не первый десяток по земле ходишь. Если что надо сделать сделаем. Праздник же сегодня, обиды прощать нужно...
- Странные ты вещи говоришь, я тут причем? улыбнулась Кебире и вдруг тоже, подавшись вперед, так что лицо ее оказалось совсем близко напротив лица Марьям-ханым, прошипела по-змеиному: Не хуже моего знаешь, соседка, за обиды платить надо, даже если цена самая непомерная! Не я это придумала, так все до нас было уже устроено. Наказания без вины не бывает. Она меня прилюдно унизила, оскорбила. Если бы сразу пришла, в ноги упала, может, и наказание тогда не такое страшное оказалось бы. А сейчас поздно...!

Искендеру показалось, что еще немного — и между вытаращенными глазами соседок вспыхнет электрический разряд. Или пробежит шаровая молния, с таким ожесточением и ненавистью смотрели они, не мигая, друг на друга. Коты с мест повскакивали, шерсть у них распушилась во все стороны, так что они чуть ли не в полразмера больше стали, двойняшки на пороге комнаты замерли. И тут уж Искендер понял, что медлить нельзя, ситуация самая подходящая. Как уговаривались до этого, согласно плану, потянулся он к своему стакану и будто случайно опрокинул его. Чай темным пятном разлился по шахматным клеткам, вскочил он с места, растерянно руками развел:

– Я нечаянно...

Соседки, словно очнувшись, друг от друга глаза отвели.

- Ай, ай, ай, что ж ты, Искендер...! Я сейчас сама уберу, Кебире-ханым... заверещала Марьям-ханым.
- Сиди уж! А ну-ка...! двойняшки подскочили с подносами, принялись со стола посуду убирать, а Искендер улучил возможность и выпустил Мовсюма из кармана. Тот с места сразу же на край скатерти запрыгнул.
 - Мышь...! закричала Марьям-ханым, показывая на Мовсюма пальцем.
 - Мышь...! заорала Кебире.
 - Мы...
 - ...шь! отскакивая в разные стороны, подхватили двойняшки.

Коты, как обезумев, с воем и шипением на стулья попрыгали, оттуда, роняя посуду, на стол бросились за Мовсюмом, который, ловко маневрируя между тарелками и блюдцами, стал гонять их от одного края до другого, пока женщины орали и бестолково вокруг носились. Громче всех, кстати, Марьям-ханым вопила. Еще и два стула опрокинуть успела для общей неразберихи. Посуда билась со звоном, чайные лужи повсюду, коты в варенье перемазались, печеное крошилось...

Мовсюм со стола на прилавок буфета запрыгнул, прицелился, дождался, а уже оттуда спружинил, как цирковой акробат, и точно приземлился на пышную грудь Кебире. У гадалки чуть глаза из орбит не выскочили!

Беспомощно размахивая над головой руками, завертелась она по комнате еще быстрее, сшибла с ног одну из сестер, а та на себя скатерть с котами сдернула. Крику стало больше. Вторая сестра, пританцовывая, словно пол был усеян раскаленными углями, хлопала вокруг себя чайным полотенцем. А тут еще задымился ковер от недокуренной сигареты.

...Когда в очередной раз полотенце, просвистев в миллиметре над Мовсюмом, со всего маха заехало Кебире по лицу, он, изловчившись, уцепился на лету за его край и с груди близкой к обмороку гадалки через всю комнату перелетел на штору. Ну, точно — акробат! Быстро вскарабкавшись на карниз, пробежал он по нему до угла, спикировал на край зеркала на стене, едва не соскользнул, спрыгнул на верх буфета, оттуда на пол и бросился со всех ног в коридор, где Искендер уже успел приоткрыть для него входную дверь. Вслед за Мовсюмом с воем бросились перемазанные коты.

...Обхватив голову, гадалка театрально стонала на диване.

Вокруг нее суетились рыдающие хором сестры, отпаивали ее водой и валокордином, массировали плечи, пока Марьям-ханым, скорчив самую сочувственную гримасу, стояла в сторонке и тоже громко ахала и охала. Головокружительная симметрия комнаты, где все вещи, как фигуры на шахматной доске, чинно стояли друг против друга, была совершенно нарушена. Всего за несколько минут Мовсюм умудрился устроить такой грандиозный кавардак, что казалось, по гостиной пронесся ураган!

Кебире вдруг подняла лицо, оттолкнула руками двойняшек и, вперившись злобным, полным бешенства взглядом в соседку, медленно приподнялась с места.

- Уходи...! Уходи отсюда, Марьям-ханым...! И печеное свое забирай! Как принесла, так и уноси! Нам оно без надобности...
- Как же, Кебире-ханым... Я ведь от чистого сердца... залепетала Марьям-ханым, пятясь задом к выходу.

Лицо гадалки с размазанным гримом, делавшим ее похожей на какого-то злобного клоуна, буквально светилось от ярости.

- И ты убирайся! каркнула она по-вороньи Искендеру, вытянувшись в полный рост. Растрепанные волосы ее спадали по плечам чуть не до самого пола, будто крылья за спиной. Имя твоей матери давно уже в книгу мертвых вписано! Самыми красными чернилами! Никто этого изменить не сможет! Так и знай! Завтра будете зеркала занавешивать! Иди, попрощайся с ней, пока еще есть время...!
- Да что ты...! выкрикнула возмущенно Марьям-ханым, обнимая Искендера за плечи. Не слушай ее, сынок... Что ты такое несешь...!
- Правду! Уходите оба и никогда, запомните, никогда больше не стучите в мою дверь! А постучитесь – имя свое забудете! С праздником тебя!
- …Выскочили из квартиры Марьям-ханым с Искендером, тяжелая дверь за ними с грохотом на весь подъезд захлопнулась, ни слова не говоря, побежали они по лестнице наверх. Искендер, само собой, впереди, но и соседка, надо сказать, не сильно отставала. Только в квартире Марьям-ханым отдышались оба.
 - Ну, спросила она его, запыхавшись, успел?
- A как же... вытащил он из-под мешковатой куртки черную шкатулку. Я сразу... как только Мовсюм на нее прыгнул, стащил. Боялся, что выроню.

- Вот же ведьма сумасшедшая! Ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Открыла она шкатулку. С самого верха аккуратно три больших гребня лежали на красной бархатной обивке. Гребни были с массивными резными ручками, костяные. Смотри, какие! Сразу видно, дорогие. Такие в магазине просто не купишь.
- Там ни одного волоска! Все зря получается! разочарованно воскликнул Искендер. Марьям-ханым глянула на него поверх очков:
- Погоди еще. Эта вещь хитро устроена. По бокам торчали два шнурка. Марьям-ханым прошла на кухню, шкатулку на стол поставила и, ухватившись за шнурки, вытащила верхнюю полочку с гребнями. Под ней оказалась точно такая же, но с расческами частыми и попроще. Каких там только не было! Лежали они тоже аккуратно, впритык друг к другу, ни пылинки, готовые к использованию.
 - Это как матрешка получается!
 - Видно, китайской работы.

На следующей полке оказались совсем крошечные расчески, какие-то фигурные, причудливо изогнутые. За ней оказалась еще полка с одинаковыми стеклянными пузырьками, только жидкости в каждом были разного цвета. Потом вышла полка с тюбиками, следом еще одна с порошками и пахучими травами в бумажных пакетиках.

Ты смотри на нее, прямо целый парикмахерский салон! Что значит – ведьма!
 поцокала языком Марьям-ханым.

Наконец, добрались они до последнего, седьмого уровня шкатулки. И тут как раз и хранились волосы Кебире. Скрюченные, перепутанные, лежали они на дне одним большим спрессованным комом, словно отвратительная мочалка.

- Ага! сказала Марьям-ханым торжествующе.
- Ура! выкрикнул Искендер.
- Все, соседка, запомнишь ты сегодняшний день, если переживешь! криво усмехнулась Марьям-ханым, зажигая самую большую газовую конфорку. Подцепив волосяной ком кончиками пальцев, сжала она его в ладони, к самому лицу поднесла, дунула в горсть, сказала что-то очень быстро, так что расслышать было невозможно, и бросила в огонь. Однако странным образом ничего не произошло! Попробуйте сами поднести волос к огню: он сразу затрещит, вспыхнет, сгорит в одно мгновенье, а тут ничего! Огоньки пламени сквозь ком пробиваются, со всех сторон его лижут, но ни треска тебе, ни дыма не горят волосы, только вьются в пламени, как живые, во все стороны пружинами распрямляются!
 - Что значит сучье отродье! Огнеупорные...

Искендер подошел к газовой плите поближе.

- Не горят!
- Потерпи. Скоро займутся. Ей с такой головой пожарником бы стать, а не гадалкой.

Живо представив себе Кебире в форме пожарника с брандспойтом в руках, Искендер улыбнулся.

Между тем иссиня-черные волосы, накаляясь, словно металлическая проволока, постепенно сделались багровыми и начали мерцать в ровных язычках пламени.

- Ничего себе!
- Не стой так близко, мало ли что... только и успела сказать соседка, когда волосяной ком вдруг весь вспыхнул высоким факелом, лизнул жадно потолок, затрещал и прямо на глазах выгорел до кучки серого пепла. И тотчас громыхнуло гдето внизу, то ли в подвале, то ли даже под землей, будто выстрелили из пушки. Дом сильно тряхнуло, прямо по стене за газовой плитой,по кафельной плитке поползла широкая трещина, а из прорези вентиляционной шахты полыхнуло горячим воздухом. Люстра закачалась из стороны в сторону, что-то со звоном посыпалось в комнате, фикус отчаянно замахал широкими листьями, словно решил вылететь в полуоткрытое окно, чуть с подоконника вместе с горшком не свалился.

На лестничной площадке уже голосили соседи, лязгали дверные засовы. Ктото заорал на улице. Искендер ухватился за стол. А Марьям-ханым, пока все трещало и качалось, стояла посередине кухни, уткнув руки в полные бока и широко расставив ноги, будто моряк-Вахаб на корабельной палубе во время качки, хохотала себе в голос, так что Искендеру даже не по себе стало.

– Проняло-таки тебя, гадину? Вырвали твое поганое жало...? Учись теперь гадать на кофейной гуще, чтобы с голоду не сдохнуть! Больше ты уже ни на что не годная! Слышишь меня, Кебире...?

Зрелище, скажу вам, еще то. Не на шутку расходилась Марьям-ханым. Голос ее звучал так, что посуда в шкафах дребезжала.

...Наконец, качка прекратилась. Собственно говоря, длилась она недолго, меньше минуты, наверное, просто страшно было очень, особенно когда паркет под ногами разъезжался.

Это только потом уже стало известно, что на первом этаже у гадалки газ взорвался. Говорили, что двойняшки не доглядели. Мол, огонь на плите сквозняком задуло, газ в помещение набрался, а тут Кебире с сигаретой своей. Хорошо, хоть день выдался теплый, и окна открытые были. А то взрывом бы всю квартиру снесло. Обошлось, короче. Ну, кухню, конечно, основательно ремонтировать придется, коридор и ванную тоже, но главное, что все живы и здоровы остались. Вот только с гадалкой...

Выскочил Искендер от Марьям-ханым со шкатулкой под курткой, запрыгал вниз по ступенькам. Это соседка ему велела от шкатулки избавиться. Сказала, нечего эту пакость дома держать, а сама опять печь принялась. Соседи на улице машину «эмчеэс» и «скорую» ждут, а она даже из квартиры выйти не захотела, опять про внуков стала рассказывать, которые уже завтра прилететь должны, а в доме нет ни крошки и не прибрано. Какую-то телеграмму стала Искендеру показывать. Телеграмму! Кто это, спрашивается, в наше время телеграммы посылает? Да их, кажется, и не осталось уже больше. Но Искендер, понятное дело, спорить не стал, напоследок только не удержался и обнял соседку. Без нее ничего бы не получилось. Марьям-ханым сначала растерялась даже. Чувствуется, что давно ее уже никто не обнимал. Неловко как-то похлопала его по спине, а потом сказала тихо:

– С праздником тебя, сынок! – на том и попрощались.

На первом этаже столпотворение. Вся лестница занята. Даже перепуганные тетушки здесь, глаза красные платочками трут, пристают ко всем с дурацкими вопросами. Искендер кое-как между ними втиснулся. Дверь в квартиру гадалки нараспашку, люди в форме «эмчеэс» входят и выходят с серьезными лицами, знают, что за ними, как в театре, публика наблюдает. Вроде ничего особенного не делают, а вид у них такой, будто в космос ракету запускать собираются. Подъехала «скорая». Врачей в квартиру пропустили. Носилки принесли. Кто-то стал кричать, чтобы соседи расходились и из подъезда немедленно вышли, но кого тут заставишь, когда такое зрелище, да еще и на праздник? Всем охота посмотреть, что с великой гадалкой случилось.

Потом Кебире из квартиры под руки вывели, и все прямо ахнули! Обгореть-то она не обгорела, только руки и лицо немного в копоти испачкались, но волосы — ее необыкновенные, роскошные волосы цвета вороньего крыла совершенно поседели, ни единого черного перышка. Сухими безжизненными клочьями торчали они во все стороны. Ничего не осталось от их пугающего блеска. И сама гадалка будто вся усохла, лицо старушечьими морщинами пошло, под запавшими глазами мешки, глядит потерянно, без смысла, словно внутри у нее кто-то свет выключил.

Шла она сама, носилки не пригодились, только с обеих сторон ее санитары поддерживали, сзади закопченные двойняшки в голос рыдали. Еще с утра была Кебире видной такой женщиной, хоть язык и не поворачивается сказать, – красивой, а тут по одной ступеньке вниз, шаркая ногами в тапочках, спускалась прямо глубокая старуха. Жуткое дело!

На полпути она остановилась, обвела замерших соседей пустым взглядом — на мгновенье в глазах ее прежние красные искры вспыхнули — и не закричала, а завыла по-звериному, так что у людей мороз по коже побежал:

- Верните мои волосы...! Верните мои расчески...! Поймайте проклятую мышь...! Один из санитаров, сильно похожий на недавнего сантехника («Может, брат-близнец?» мелькнуло у Искендера в голове), кивнул и сказал участливо:
- Поймаем, мать, обязательно поймаем. Только до больницы доедем и сразу начнем мышей ловить.
- И крыс тоже, добавила идущая следом крошечная медсестра с заметными усиками, а услышав, как за спиной еще громче зарыдали перепачканные двойняшки, смутилась.

Больше Кебире ничего не сказала. Молча, опираясь на руку санитара-сантехника, доковыляла до машины «скорой помощи», молча взобралась в нее и уехала, оставив соседей сплетничать и обсуждать происшествие. Насколько я знаю, она до сих пор ничего не говорит. И не гадает больше. Вяжет что-то. Не шапки, не варежки, не свитер. Что-то бесформенное, длинное, может, даже бесконечное. Кто видел, рассказывают, что полкомнаты уже ее рукоделие занимает. Двойняшки пряжу не успевают покупать. Жалуются, что денег на нее не хватает. Одна из них теперь в продуктовом магазине на одной стороне улицы работает, а другая точно в таком же — на противоположной в колбасном отделе за прилавком стоит. И продавщиц, и магазины почти не отличить. Даже в этом у них все симметрично получилось. Ну и слава богу, скажу я вам. Осталось им еще себе мужей одинаковых подобрать, не век же им в незамужних девках сидеть. К примеру, могли бы за сантехника с санитаром выйти, раз уж они так похожи.

Коты сгинули. Без следа. Увы, вместе с ними и Мовсюм пропал. Искендер до поздней ночи надеялся, что вернется. Не вернулся. В коробке его пустой матрасик, четки, лекарства остались, будто укоряя его за то, что не выполнил он последнюю просьбу мишоппы.

...Пока он, по сторонам озираясь, ведьмину шкатулку за кустами закапывал, все казалось ему, что кто-то следит за ним внимательными глазами. Может, Мовсюм это – раненый или с гипертоническим кризом лежит где-то рядом без помощи! Окликнул он мышь по имени, но в ответ ему с пыльных елей только вороны каркнули. Искендер голову поднял: на каждой ветке по черной птице сидит, макушки деревьев от их веса сгибаются. Расселись они неподвижно, выпуклыми глазами, окантованными золотой нитью, на присыпанную землей шкатулку глядят. Будто точное место хотят запомнить. А издалека еще другие подлетают. Уже и места на елях не осталось. Никогда еще Искендер столько ворон в микрорайоне не видел!

...Когда у гадалки рвануло, соседи в 22Б, понятное дело, на балконы высыпали. И Гюльбадам-ханым со своими тремя балбесами тоже. Пока они там стояли, никто и не заметил, как милейший Гюльхош Мамедович в первый раз за все это время голову от подушки самостоятельно оторвал, глаза открыл, потянулся так, что кости захрустели, и с дивана поднялся. Оглядев изрядно раздавшийся живот, он даже опешил немного. Когда засыпал, живот был раза в полтора меньше. Заволновался бывший участковый (о том, что он уже бывший, он-то еще ничего не знал, ему же казалось, что он всего несколько часов спал после долгой бессонницы). Ощупал он осторожно себя, вроде не пучит совсем: может, тогда это страшная болезнь прицепилась?! Или, черт его знает, забеременел как-то — от нынешних продуктов что хочешь приключиться может. Свояк, у которого колбасный цех, рассказывал, что во все теперь сою добавляют, а от нее гормоны нарушаются. Решил Гюльхош Мамедович, прежде чем паниковать, сходить для начала в туалет. Ну, а там уже видно будет, может, еще рассосется как-нибудь. Это только потом выяснилось, что беременным как раз не он ока-

зался, а милейшая Гюльбадам-ханым: ровно через семь с половиной месяцев, всем на зависть и удивление, родила она еще одного крепкого сына. Чтобы не нарушать традиции, назвали его в честь великого поэта Хагани.

А сосед его по подъезду, несчастный Лятиф, сразу после взрыва чихнул. Да так, что из носа и ушей ватные шарики с вазелином прямо пулями повыскакивали, прилипли к потолку и люстре. В ужасе, что навалятся на него сейчас со всех сторон запахи, бросился он в спальню катать новые затычки, но, только пока трясущимися руками вату рвал, почувствовал, что никаких запахов уже не слышит. В том смысле, что все, как раньше, стало. Запахи-то есть какие-то: из кухни бараниной тушеной тянет и жареным луком, трюмо пахнет духами жены, только вот из чего эти запахи состоят, он уже понять не может. Неужели кончилась, наконец, его нюхаческая каторга? Сел Лятиф на край застеленной кровати и заплакал. Пусть поплачет. Как сказала гадалка, наказания без вины не бывает, нечего было во все свой длинный нос совать. Может, уроком станет.

Про амбала с родинкой, кстати, который за Искендером ходил и потом Карагач на гниение пометил, мало что известно. К гадалке он почти случайно попал, как говорится, по совету друзей. Что-то там у него с матрасным бизнесом не заладилось. Вот и попросил ее дурень на всю налоговую инспекцию разом порчу навести... Налоговая с тех пор как работала, так и работает, амбала же след простыл. Не иначе, как посадили за все его художества.

А дальше...?

Глава шестнадцатая

Новруз

А дальше, само собой, наступил праздник. Куда он денется? В полночь день с ночью сошлись, поравнялись, наступила настоящая, не календарная весна. А с ней и новый год.

...Искендер, когда молочный хлебец доставал, удивился – полдня в шкафу простоял, а на ощупь, как будто только что из духовки. Горячий! Вроде небольшой совсем — чуть больше чайного блюдечка, но пахнет вкусно на всю комнату. Завернул Искендер хлебец в салфетку, мимо тетушек и отца, засевших в гостиной за накрытым столом, пробрался в мамину спальню. В последние несколько дней его к ней, считай, не пускали уже. Пусть, мол, отдыхает, не беспокой ее. Да он и сам занят был.

В спальне дух стоял тяжелый, болезнью пахло. Болью. Лекарствами. У кровати на тумбочке горел желтый ночник. Искендер присел рядом с матерью, стал осторожно будить ее. Долго будил. После уколов она засыпала так, как будто просыпаться уже не собиралась. Но мы-то знаем: Искендер, мало сказать, настойчивый, но и упрямый. Разбудил-таки ее. Только не до конца. Смотрела она на него мутными от мучений глазами, то, улыбаясь, узнавала и шептала что-то ласковое одними губами когда-то пухлыми, мягкими, а теперь от них одни две бескровные полоски остались, по лицу гладила, то опять проваливалась, как в глубокую яму, в свое страшное забытье. Может, оттого и не просыпалась она до конца, что думала, будто Искендер ей снится с этим горячим хлебцем в руках, похожим на печеное солнце.

«Посмотри! Это тебе...», – шептал он.

Вздрогнула она во сне, глаза открыла:

«Красивый какой... Где ты его взял? Оставь на завтра...», – и опять веки у нее слиплись. Но Искендер твердо знает, если не съест она хлебец сегодня, прямо сейчас, – никакого завтра для нее уже не будет. Осторожно разломил он его (внутри хлебец совсем как сладкая вата, будто не из теста месили, в руках тает, пар ароматный по комнате стелется, вытесняя тяжелый дух болезни).

...Так он и накормил ее хлебцем. Между сном и явью. По маленьким кусочкам. Только-только до полуночи управился.

Приснился ему той ночью приятный сон. Будто просыпается он в своей комнате на воробьиный галдеж. А день за полуоткрытым окном такой яркий, такой весенний! На рассвете, видно, быстрый дождь прошел, скучные тополя и сосны и те посвежели. Солнце уже из-за 22Б наполовину выскользнуло, еще медное, — утро-то раннее совсем — но края его уже золотятся, плывут цветными бликами в соседских окнах. Совсем не хочется Искендеру вставать, приятно просто лежать, глядя, как за окном новый день начинается. Первый день настоящего нового года. И тут кто-то ерошит его отросшие волосы. Он еще не видит, кто это, но уже знает.

– Вставай, сынок, завтракать будем, – говорит мама. – Я омлет приготовила. Только тихо, чтобы клуши не проснулись... Хором храпят...

Смеется беззвучно. Лицо у нее все еще измученное, восковое, с запавшими щеками, но глаза уже блестят, как раньше. Тут только Искендер и сообразил, что не спит. Вот же она, рядом сидит в синем махровом халате. Влажные после душа волосы обмотаны полотенцем. Обхватил он ее, что было сил, уткнулся лицом в халат, страшно ему стало невыносимо.

– Ну, что ты, родной... – говорит она. – Уже не бойся, здесь я, здесь...

Хочет он что-то сказать, но такой ком в горле, что не продохнуть, только на душе легкость, которую и словами объяснить нельзя! Словно таскал он все время на плечах рюкзак, набитый тяжеленными камнями, а теперь скинул его прочь.

– Мама...

Смотрит она с улыбкой в окно:

- Слушай, мне такой странный сон снился... Сейчас вспомнила! Надо тебе его обязательно рассказать. Не пойму, к чему бы это... Значит, стою я на каком-то пустыре, вокруг мусор, сухая земля, а впереди дерево. Большое, ветвистое, и оно все облеплено гусеницами. Куда ни глянешь полно их. И такие мерзкие, мохнатые, извиваются... И вдруг, значит, из дерева, из дупла, что ли, вылезает маленький мужчина. Представляешь? В спортивной шапочке, в финках. Идет ко мне, сильно хромает. Смотрю у него что-то вроде костыля под мышкой. Подходит ко мне и говорит:
- «Здравствуйте, Джамиля-ханым, с выздоровлением вас, чтобы всегда на ногах были...»

Я говорю:

«Спасибо». А сама думаю: откуда он это, интересно, знает, что я болела? Может, сосед?

«Я ведь тоже болел. Вот, смотрите...», – говорит. И, представь, задирает штанину, показывает мне ногу. А у него вместо ноги ветка торчит! С листочками зелеными...! Ерунда какая-то! А я ветку внимательно рассматриваю и спрашиваю его:

«Что это за болезнь такая?»

Он смеется:

«Могло быть и хуже. Надо спасибо сказать Искендеру за то, что я весь в корягу не превратился!» В смысле, тебе спасибо надо сказать! Я на него так удивленно смотрю, а он продолжает:

«Привет ему передавайте! Пусть за Мансура не беспокоится, он уже дома, отсыпается...»

- Мовсюма, улыбнулся Искендер.
- Мовсюма...? Ну, да, Мовсюма, наверное... Ты, что, знаешь его?
- Немного.
- Откуда? Кто он такой? Я-то его не знаю, как же это он мне приснился, если я его раньше в глаза не видела?
 - Мам, он такой! В любой сон пролезть может. Что-нибудь еще передавал?
 Она недоуменно пожимает плечами:

- Да. Сказал, ждет тебя в гости. А потом знаешь, что сделал...? Повернулся, пальцы в рот сунул и свистнул громко, заливисто, и оказывается, пока мы с ним говорили, гусеницы превратились в бабочек! Все до одной! И как он свистнул, они разом все вверх взвились: красные, желтые, синие, оранжевые! Просто тысячи бабочек! Не представляешь, как красиво! Порхают вокруг дерева... Крупные, как воробьи! Да, забыла совсем, говорит: «Напомните Искендеру, что он мне десять манатов должен». ... Что за ерунда? Кому это ты денег должен? спрашивает она недоуменно. Сколько раз тебя предупреждала, чтобы ты ни у кого денег не брал...
- Мама, это же сон! рассмеялся Искендер, а сам с волнением подумал: «Дереву бы спасибо сказать надо! Без него ничего бы не было. Только где его теперь искать? Поди знай, куда его Абабиль на этот раз перегнал? Хоть бы знак подал какой-нибудь...!»

Вообще-то мишоппа знак подал. Просто Искендер об этом узнал не сразу. Только через полчаса, когда к Марьям-ханым спустился, рассказать, что мама на ноги встала. Пока соседка от радости слезы платочком вытирала, Искендер с зеркала у нее за спиной взгляд не сводил. Там, где раньше на раме пустое место образовалось, теперь опять чудесный Карагач красовался. И из дупла его, приветственно подняв вверх обе руки, выглядывал улыбающийся мишоппа. Но кое-что и новое появилось – рядом с деревом знакомая сапожная будка, а позади школьный двор! Теперь уж понятно, где Абабиля с Карагачем искать!

– Ты подожди минуточку, сынок, я сейчас...! – засуетилась Марьям-ханым, спрятав платочек в карман своего белоснежного фартука. – Пирог только что из печки! Отнесешь маме, ей сейчас сил набираться надо...

Побежала она на кухню, стала греметь противнями, но Искендер ее ждать уже не стал. Не удержался просто. Выскочил в подъезд, будто ненормальный, поскакал вниз, опасно перепрыгивая через ступени, и всю дорогу до школы, пока мчался мимо гаражей и стройки, мимо дома торжеств, кутабной, девятиэтажки, словно заведенный бубнил себе под нос, как научил его когда-то Абабиль:

Рыбий хвост покажет на Север, Птичий клюв укажет на Юг, Зеркала и свои отражения Убери до срока в сундук.

Во дворце в глубоком колодце Жаба сохнет от жажды на дне, Птица-чудо и ведьмино жало Вновь схлестнулись в священном огне.

Кровь и плоть твои стали тестом, Между светом и ночью побудь, Выходя на развилку дороги, Выбирай серединный путь!

Справа Солнце, а слева Месяц, Твой светильник уже не задуть, Как проснешься от сна и от боли, Не забудь мишоппу помянуть!

Канада, Эдмонтон, 2021

МИРЗА АЛЕКБЕР САБИР – 160

ГАДЖИ ФИРУДИН ГУРБАНСОЙ

ГЕРОЙ САТИРЫ М.А.САБИРА МОХАММЕД АЛИ-ШАХ

Выдающийся поэт-сатирик азербайджанской литературы XX века Мирза Алекбер Сабир создал поистине сатирическую летопись своего времени. Величие Сабира определяет мудрость и афористичность, выбор тем и практически не поддающееся переводам совершенство поэтической формы и художественных образов.

Политические темы в творчестве поэта занимают особое место. Он обладал даром самые сложные события показывать настолько просто, что и самому неискушенному читателю понять все было легко. Одним из «героев» его сатир стал иранский шах Мохаммед Али, который как марионетка позволил управлять собой и страной сильным державам. Действовал по указке русских, англичан, французов, немцев, при этом оставаясь для собственного народа тираном.

Сабир писал как лично о Мохаммеде Али, так и косвенно, описывая обыденную жизнь Персии, бедноту, безграмотность, фанатичность масс, говоря о революционном движении «Мешруте». Несмотря на то, что сам Мохаммед Али-шах при этом не упоминался, все же в центре сатиры стоял именно он. Если объединить все стихи Сабира о Мохаммеде Али-шахе, то получится одна трагикомедийная поэма. Неудачная политическая карьера, его любовные похождения, предательские переговоры, ненависть народа, жестокость — вот цели сатир поэта.

За известные всем похождения шаха Сабир в своих произведениях называл его «Мендели» (Я сумасшедший), или «Меме Дели» (Страдающий по женским соскам), или просто «Мемдели».

Не иранец я ничуть, я великий Мендели! Я – тиранства волчья пасть, предо мною вы – в пыли. Я – беда над головой у подвластной мне земли! И неважно, что меня вы пиявкой нарекли. Кровь и мясо – лишь мои! Туши толщина моя! Сила, слава – все моё! Честь – и та сполна моя!

11 августа 1908

Мохаммед Али-шах был хорошо образован, в совершенстве знал родной азербайджанский, персидский, арабский, турецкий, французский, русский и итальянский языки, прекрасно рисовал, занимался каллиграфией, играл в шахматы, умел поддержать беседу о музыке, поэзии, театре, был отличным стрелком и наездником. Вместе с тем ненасытность к благам жизни и властолюбие вовлекали его в грязные политические игры.

Мохаммед Али-шах родился 21 июня 1872 года в семье шахской династии Гаджаров и был старшим сыном Музаффареддин-шаха и его жены Уммул-Хакана, племянницы Насреддин-шаха. Одним из воспитателей будущего шаха был караимский ориенталист и тюрколог, российский подданный С.М.Шапшал, сумевший расположить к себе Мохаммеда Али. По мнению исследовательницы Ольги Красняк «...Шапшал, приобретший огромное влияние на наследника, руководил всеми его действиями и фактически правил Азербайджаном». По словам К. Н. Смирнова «...с Шапшалом весьма считались, и его положение при шахском дворе было твёрдым». В истории с разгоном

¹ Здесь и далее все стихи М.А.Сабира приведены в переводе П.М.Панченко.

шахом Меджлиса Шапшал сыграл не последнюю роль.

Отец Мохаммеда Али-шаха Музаффареддин-шах Гаджар (5 марта 1853 — 1 января 1907) был пятым шахом из династии Гаджаров. Будучи наследником, Мохаммед Али занимал пост губернатора Тебриза. В 1900 году император Австро-Венгрии Франц Иосиф I собственноручно вручил будущему шаху Большой Крест ордена Леопольда. Это был эксперимент-тест; будет ли носить крест мусульманин, наследник престола?! Ведь правителей считают тенью Бога. Эксперимент удался. Императорская Россия в одном только 1905 году наградила его пятью орденами: орденом Святого Андрея Первозванного, орденом Святого Александра Невского, орденом Белого Орла, орденом Святого Станислава 1-й степени и орденом Святой Анны 1-й степени. Еще раньше, в 1902 году, Российская Империя также наградила его отца Музаффареддин-шаха Гаджара пятью орденами: орденом святого апостола Андрея Первозванного, орденом Святого Александра Невского, орденом Белого Орла, орденом Святого Станислава 1-й степени, орденом Святой Анны 1-й степени с бриллиантами.

1905-й год в некоторых странах был сложным. Везде угнетенный народ говорил о свободе. Вот как Сабир охарактеризовал эти времена:

Свобода! Хотелось халвы мне отведать твоей, Отведать и крикнуть: «Что в мире свободы вкусней?» ... Но, грозен, как туча, взглянул на меня кладовщик, «К усладам свободы ты, малый, тянуться не смей! Красавица эта Ирану, пойми, суждена! Что ты для прекрасной? Ты чужд, понимаешь ли, ей»...

За что же получил Мохаммед Али-шах в 1905 году ордена? За то, что руками русских солдат утопил в крови Тебризскую Революцию («Мешруте»), уничтожил тысячи своих сограждан. Интересно, что именно в этом году Османская империя тоже вручила ему высшую награду: почетный Орден Дома Османа (Али-Осман). Спустя два года Третья Французская республика, не желая отставать от других ведущих стран, наградила послушного наследника Большим крестом ордена Почетного легиона.

Мохаммед Али, вступив на престол после смерти отца, стал шахиншахом Ирана с 8 января 1907-го и правил до 16 июля 1909 года. При вступлении на престол обещал соблюдать Конституцию, дарованную его отцом в 1906-м, чего, однако, как и все остальные политические обещания, не выполнил.

Где Конституция? В пыли! Наглеют слуги Мемдели! От жира вздулись, оплыли! Шайтаны правят всей страной — Дубина, знать, тому виной!

1 марта 1909

1 мая 1907 года он назначил премьер-министром Мирзу Али Асгар-хана, опытного политика, уже занимавшего этот пост в 1888-1896 и 1898-1903 гг. и получившего титул Мирза Али Асгар-хан, Эмин эс-Салтане, Атабек-е-Азам — Верный Султану, Высший правитель (титул первого министра). Однако уже 31 августа 1907 года Мирза Али был убит федаином Аббасом Агой из Тебриза. Несколько покушений на самого Мохаммеда Али успехом не увенчались. В пятнадцатый день мухаррама, священного месяца хиджри, когда шах гулял в Довшантепе в Тегеране, со стороны Вахши Баг двое убийц с ножами напали на него и сопровождающих его лиц. Все умерли, а он остался жив.

Газета «Сури-Исрафил» в 25-м номере от 1908 г. пишет: «В день джума 25 мухаррама 1326 года (28 февраля 1908 г.), несмотря на усиленную охрану полицейских, в момент, когда шах подходил к своему автомобилю, взорвалась бомба, установленная недалеко от машины. Несколько человек погибли. Автомобиль взлетел по частям, по счастливой случайности шах, благословенный судьбой, остался невредим, хотя находился в ста шагах от места взрыва. Остался жив и шофер-француз. Другая бомба взорвалась на улице, около будки цирюльника. Шах опять не пострадал, но неудавшееся покушение сделало его крайне подозрительным. После этого по его приказу было казнено много людей». В покушении обвинили одного из руководителей революции «Мешруте» Гейдар-хана Эмиоглу.

3 июня шах, опасаясь очередного покушения, покинул дворец в столице и уехал в Шахские сады — резиденцию, находящуюся недалеко от Тегерана. 24 июня 1908 года Мохаммед Али с помощью Персидской казачьей бригады совершил переворот, разогнав Меджлис. В 1908 году в Тебризе началось восстание против шаха. Восставших поддержали социал-демократы и обеспечили оружием и деньгами.

В январе 1909 года сторонники Конституции, поддержанные бахтиарскими ханами, стремившимися к укреплению своего влияния, захватили власть в Исфахане. Началось восстание в Гиляне (в Реште и других городах Гиляна). В Бушире, Бендер-Аббасе и некоторых других городах и районах Ирана к власти пришли противники шаха. Сабир с гениальной проницательностью еще за несколько месяцев предсказал эти события. Сопоставляя события в Османской империи и в Иране, устами султана Абдул Гамида, низложенного и заключенного в крепости, поэт обращается к Мохаммеду Али:

Мемдели, не стой, беги! Не гордись, — кругом враги! Ты с меня бери пример, Примирись, ускорь шаги! Я клянусь Творцом Земли, Ты же смертен, Мемдели. Твой баран уйдет из рук, Твой кальян уйдет из рук, И не только Тегеран, Весь Иран уйдет из рук!..

3 мая 1909

13 июля 1909 года повстанцы вступили в Тегеран.

Изучая опубликованные секретные документы и стихи его по этой же теме, поражаешься тонкому чутью великого поэта. В «Сборнике дипломатических документов, касающихся событий в Персии» (Вып.2, Спб., 1911, стр.261-262) читаем: «В 1909 году, утром 3(16) июля шах, убедившись в бесполезности дальнейшего сопротивления, со свитой и женами переехал из Солтанабада в Зеренде под защиту царской и английской миссий. Вечером того же дня в меджлисе собрался чрезвычайный верховный совет в составе руководителей федейских и бахтиярских отрядов, принцев, депутатов бывшего меджлиса, отставных министров, главных муджтехидов и крупных купцов. Этот совет объявил о низложении шаха, о назначении новым шахом 11-летнего сына Мохаммеда Али — Солтан Ахмеда (21 января 1898 — 21 февраля 1930) и регентом старейшего Гаджарского принца Азад ул-Мулька. Военным министром и сепахсаларом, а также генералгубернатором Тегерана был назначен примкнувший к Гилянским федаям и формально являвшийся командующим их отрядами крупный Гилянский феодал Сепахдар. Начальником Тегеранской полиции был назначен дашнак Ефрем Давидянц, который до этого был владельцем кирпичного завода в Реште».

Была выпущена и серебряная монета с изображением подростка-шаха (в моей коллекции находится одна из таких монет).

Сабир, предвидя ход событий, писал:

Пускай, как сердце у меня — сгорел ты! Плохая весть от Мемдели, от сироты: Бежал — и больше не вернет своей тахты. У Консула ютится знать, Иран, Иран! Дурная кровь твоя, видать, Иран, Иран!...

Вокруг любого столько войск — звенит в ушах! Мол, Мемдели, слезай с тахты — не нужен шах! Порядки старые в три дня втоптали в прах! Тут шах завыл — и удирать, Иран, Иран! Дурная кровь твоя, видать, Иран, Иран!

Прекрасный край! Каких людей ты встарь родил! То были старцы, молодежь — и ум, и пыл, В те годы тенью Бога шах для ханов был. Теперь Ефрему ханом стать, Иран, Иран! Дурная кровь твоя, видать, Иран, Иран!..

Стихотворение было опубликовано в журнале «Молла Насреддин» №29, от 19 июля 1909 года, под псевдонимом «Абу Наср Шейбани».

В секретных документах читаем (Вып.З.Спб., 1912, стр.123) о дальнейших политических приключениях низвергнутого шаха: «Бывший шах Мохаммед Али не был привлечен к ответственности. Правительство либералов при посредничестве царской и английской миссий вступило в переговоры об установлении ему пенсии, которые закончились 25 августа (7 сентября) 1909 г. По заключенному соглашению бывший шах обязывался передать правительству все коронные драгоценности и свои земельные владения в Иране. Правительство принимало на себя уплаты всех долгов Мохаммеда Али иностранным банкам и подданным и назначило ему ежегодную пенсию в сумме 100 000 туманов. Шах должен был выехать из Тегерана за границу через 48 часов после подписания соглашения... На деньги, получаемые от Иранского правительства, бывший шах сразу же после отъезда из Ирана начал вести подготовку к захвату шахского трона вновь».

Дом мой, тайны мои, и дела, и слова, Честь и слава — от них лишь болит голова; Это все распродать — не мои ли права? Государство Гаджар продаю я сперва, А потом... Набивая мошну, продаю, — Эй, барышники, слушай! Страну продаю!

7 июня 1909

Мохаммед Али был вынужден скрыться в российской миссии, а затем уехать в изгнание в Россию. А как жилось шаху за границей, мы знаем по переписке.

«Секретная депеша Российского Посла в Париже А.П. Извольского, Министру Иностранных Дел С.Д. Сазонову Париж, 19 декабря-1января 1910-11 гг., №75

Из секретной телеграммы моей от вчерашного числа за №85, Ваше Высокопревосходительство уже осведомлены о приезде в Париж бывшего Персидского Шаха и о его ходатайстве, об оказании ему денежной помощи со стороны Императорского Правительства.

Обставив свое передвижение строгой тайной, Мохаммед Али-шах успел проехать из Мерана в Ниццу и пробыть в последнем городе несколько дней без того, чтобы об-

ратить внимание на себя даже газетных сотрудников. Вследствие сего, несмотря на отданное уже Посольством распоряжение в смысле письма Т.С. Аргикапуло от 21 октября с.г. № 988 и телеграммы Вашего Высокопревосходительства от 28 октября за № 1625 нашим Консульствам в Ницце и Париже не удалось принять на себя заботы о возможном облегчении Шаху внешней обстановки его путешествия.

Узнав о неожиданном приезде Мохаммеда Али в Париж, я тотчас поручил первому секретарю Посольства барону Шиллингу съездить к Его Величеству и, по передаче ему приветствия от моего имени, сделать ему указанные в упомянутом письме и телеграмме заявления. Шах ответил, что он очень тронут новым доказательством постоянной заботливости о нем Императорского Правительства, что он благодарит за принятые французскими властями, по почину Посольства, меры к ограждению его безопасности, но что он с признательностью отклоняет предложенные услуги одного из чиновников нашего Консульства, так как при нем уже состоит здесь один из секретарей персидской миссии в Париже, на которого возложены преговоры с гостиницей, поставщиками и проч. Что же касается дружеского совета воздерживаться от всего, что могло бы в Тегеране быть истолковано в смысле происков против нынешного Персидского Правительства, то Мохаммед Али выразил надежду, что в С.-Петербурге не усомнятся в искренности его намерения не предпринимать ничего для своего возвращения в Персию и для восстановления там утраченной своей власти. Поэтому он хочет верить, что у нас не придадут значения распространяемым из Тегерана ложным слухам и подозрениям, вызванным настоящей поездкой, единственной целью которой является восстановление расшатанного здоровья.

Затем бывший властитель Персии заявил, что причитающийся ему ныне взнос выговоренной пенсии заставляет себя ждать, между тем как расходы по путешествию ставят его в довольно стесненное положение. Ввиду этого Шах передал мне через барона Шиллинга усердную просьбу ходатайствовать по телеграфу перед Императорским Правительством о выдаче ему последним, в качестве аванса за счет пенсии, 15 000 р. Собираясь выехать отсюда завтра в Брюссель, он будет ждать там ответа, за которым обратится в нашу Миссию.

После того Мохаммед Али намерен заехать дня на два в Берлин, а оттуда снова вернуться в Меран.

О вышеизложенном я счел уместным упомянуть в разговоре, который я имел сегодня с Английским Послом.

Примите и проч. Извольский»

Несмотря на свои обещания, за престол шах готов был бороться, не останавливаясь ни перед чем. После отстранения от власти в пользу собственного сына, Мохаммед Али увез с собой мать наследника вместе с многочисленными женами. Может, рассчитывал, что мальчик, пожелав увидеть мать, встретится и с ним? Но за прошедшие три года изгнания приглашения на встречу шах так и не получил. Оставалось только одно: свергнуть сына. И архивные материалы только поддерживают эту мысль.

«Секретная депеша Российского Посла в Париже А.П. Извольского, Министру Иностранных Дел С.Д. Сазонову Париж, 20 декабря/12 января 1910-11 гг., №76

Как я имел честь телеграфировать Вашему Высокопревосходительству, посетивший меня Персидский Посланник сообщил мне весьма доверительным образом, что, по его наблюдениям, бывший Шах Мохаммед Али, вопреки данным им вчера барону Шиллингу заверениям, не только не отказался от мысли вернуть себе Персидский престол, но находится в самых деятельных сношениях с главарями некоторых пограничных племен, главным образом, по близости Макинскому Ханству, и намеревается при их содействии вскоре появиться на персидской территории. По словам Самад-Хана, посредником

между бывшим Шахом и его сторонниками в Персии служит Мансур ул-Мульк, а в Одессе письма и телеграммы получаются на имя некого Чорбаева. Самад-Хан видел весьма компрометирующие письма и телеграммы, в коих, между прочим, говорится о посылке денежных сумм в Персию. Мохаммед Али, по-видимому, предается иллюзии, что как в Англии, так и в России, в особенности после моего ухода, Правительства ныне более склонны сочувствовать его реставрации. Самад-Хану известно, что Мохаммед Али находился в Меране в отношениях с Саад уд-Доула, а что в Ницце виделся с Зилли-Султаном, которые оба поддерживают в нем вышеописанное настроение.

Поблагодарив Самад-Хана за его сообщение, я попросил его еще раз самым строгим образом подтвердить Мохаммеду Али от моего имени предостережения и советы, переданные ему вчера бароном Шиллингом, и предупредить его, что подобные интриги могут иметь для него лишь самые печальные последствия.

Хоть Самад-Хан уверил меня, что он никому, кроме меня, не сообщал о вышеизложенном, мне кажется, что вряд ли он воздержится от передачи своих наблюдений в Тегеран. Ввиду этого я счел долгом с особенной силой высказать осуждение проискам Мохаммеда Али и установить полную непричастность к этим проискам Русского Правительства.

Примите и проч. Извольский»

Зилли-Султан – Тень Божья, так называли принца Гаджарской династии. Вот что пишет о нем командир Персидской казачьей бригады: «Брату шаха, Зилли-Султану, было под 50 лет. Лицо его с жестким выражением острых, проницательных черных глаз и тонкими губами не было особенно привлекательным, напоминая о жестокости, о которой ходили многочисленные рассказы».

В Иране принца ждали с нетерпением. Зилли-Султана отдали на растерзание бунтующим.

История Зилли-Султана стала новой темой для Сабира.

ВЫКЛАДЫВАЙ!

Народ

Зилли-султан! Ты нам грозил – и всё у нас потом забрал, А ну, выкладывай сюда всё, что, свистя кнутом, забрал!

Зилли-султан

О, каюсь, каюсь в том, что кровь я впрямь сосал из ваших жил, Что я сознательно грешил и несознательно грешил!

Народ

Ведь ты в Европе проживал! Зачем же ты бегом-бегом Опять направился в Иран? Не ожидал, что грянет гром? Ты сам дал повод, чтоб тебя вселили в этот серый дом! Теперь ничем уж не помочь! Сиди, любезный, под замком! Попридержи язык! Верни, что ты, чиня разгром, забрал! Выкладывай сюда, что сам, что со своим двором забрал!

Зилли-султан

O, каюсь, каюсь в том, что кровь я впрямь сосал из ваших жил, Что я сознательно грешил и несознательно грешил!

Народ

Припомни по порядку всё, что ты готов забыть сейчас: Как ты сливал в бутылки кровь, лишая этой крови нас. Как летом на зиму сушил плоды чужие про запас! Хоть вылезут глаза на лоб, срыгни, срыгни-ка всё зараз! Попридержи язык! Верни, что ты у нас живьем забрал! Выкладывай сюда, что сам, что со своим зверьем забрал!

Зилли-султан

О, каюсь, каюсь в том, что кровь я впрямь сосал из ваших жил, что я сознательно грешил и несознательно грешил!

Народ

В стране полвека ты, злодей, свои обделывал дела, К тебе в готовом и в сыром — во всяком виде пища шла. Не скаль клыков: довольно ты принес народу бед и зла! Снимай-ка саблю, что тебе побед немало принесла! Попридержи язык! Верни, что ты у нас мечом забрал! Выкладывай сюда, что сам, что вместе с палачом забрал!

Зилли-султан

О, каюсь, каюсь в том, что кровь я впрямь сосал из ваших жил, Что я сознательно грешил и несознательно грешил!

Народ

Народ иранский, как дитя, тобой был в люльке усыплен. Следила стража, чтобы он, заплакав, не прервал свой сон. Но вы забились по углам, едва зашевелился он. Выкладывай, Зилли-султан, что натаскал со всех сторон! Молчи, подай сюда добро, что ты петлей, ружьем забрал! Выкладывай сюда всё то, что ты у нас с ножом забрал!

Зилли-султан

О, каюсь, каюсь в том, что кровь я впрямь сосал из ваших жил, Что я сознательно грешил и несознательно грешил!

23 августа 1909

В 1911 году свергнутый шах во главе войска вернулся в Иран и высадился в Астрабаде, но его сторонники были разбиты армией нового правительства.

Вот что пишет дипломат трех шахов Ахмед-хан Мелик Сасани: «После того, как устранили Мохаммеда Али-шаха с престола Ирана, Россия его приютила в Одессе. Там для него купили прекрасный дом с садом. От иранского государства ежемесячно поступало 7 тысяч туманов».

Российским императором были командированы доктор Ерузельский и генерал Хабаев для службы Мохаммеду Али-шаху.

Жил Мохаммед Али-шах в Одессе в особняке на нынешней улице Гоголя, 2. Еще с Тещиного моста открывается величественный Шахский дворец. Он был построен одесским архитектором Феликсом Гонсиоровским в 1852 году для польского помещика Бржозовского. Дворец напоминает средневековый замок с зубчатыми башнями, мощными стенами, стрельчатыми окнами и построен из местного камня-ракушечника, облицован инкерманским камнем, который был доставлен из Крыма.

В плане здание имеет форму буквы «Г» с «Г»-образным же полузамкнутым двором. Входные ворота напоминают башню рыцарского замка старой Англии или дворца испанского идальго. От улицы дворец отделен металлической решеткой. В Одессе в бывшем дворце Бржозовского шах жил со всей своей челядью. Такая экзотическая личность привлекала внимание жителей города, которые и дали дворцу название «Шахский дворец», существующее до наших дней.

Мохаммед Али был еще сравнительно молодым человеком. В 1909 году ему исполнилось 37 лет. Посещая общественные места, он всегда дарил подарки и сувениры обслуживающему персоналу и просто посетителям, за что снискал любовь и уважение жителей города. Говорят, что он выбрасывал провинившихся жен с балкона 1-го этажа дворца на улицу на потеху публике. Но это, скорее всего, легенда. Да и есть факты, что гарем располагался не во дворце, а на улице Черноморской, недалеко от Александровского парка (ныне парк Т.Г.Шевченко). Мохаммед Али вел активную политическую жизнь, состоял в переписке со многими политическими деятелями. В одном из писем английскому премьер-министру Уильяму Гладстону Мохаммед Али писал: «Уверяю вас, что легче 50 лет прожить с одной женой, чем один год — с 50 женами». Имидж ловеласа тяготил его, однако это помогало ему встречаться с нужными людьми, вести переговоры.

Активный и продуктивный исследователь жизни и творчества Сабира, Алхан Байрамоглу уточнил несколько спорных фактов любовных похождений иранского шаха Мохаммед Али в Европе (журнал «Улдуз», 2003, №9).

Одна из его европейских любовниц приехала за шахом в Иран. Тогда анонимный автор сочинил двустишие на фарси:

تسکن کبجع ندکود دکس هکپ داّکس دراد هزم ندکود داّکس هکپ زا دکس

(Сейяд пейэ сейд девиден, аджаби нист, Сейд ез пейэ сейяд девиден – мэзэ даред.)

Если охотник идет по следам охоты, здесь нет ничего удивительного, А если дичь идет за охотником, вот это забавно!

(Подстрочный перевод автора)

Кто же эта дичь? Тайные переписки дают ответ и на этот вопрос. В письме Российского Посла в Париже А.П. Извольского Министру Иностранных Дел С.Д. Сазонову от 16/29 февраля 1912 года есть такие строки:

«В заключение должен рассказать Вам следующую неправдоподобную, но, тем не менее, вполне достоверную историю: в Париж только что возвратилась из Персии некая графиня Клермон Тоннер (Clermont Tonnere), сопровождающая в походе экс-шаха. Дама эта, известная здесь своей эксцентричностью и различными экзотическими приключениями, по-видимому, увлекалась идеей реставрации Мохаммеда Али, а по другой версии, личностью принца Салара (брата Мохаммеда Али), и неотлучно находилась в лагере последнего во время последних событий: она уверяет, что ссудила экс-шаху четыреста тысяч франков, которые она получила от заклада принадлежащего ей в Париже дома (графиня Клермон Тоннер была замужем за известным фабрикантом шампанского с-te chaudon de Biailles, но рассталась с ним и носит свое девичье имя). Лично я с нею еще не встречался, но она часто бывает у некоторых моих знакомых и пропагандирует в их салонах реставрацию Мохаммеда Али. Таким образом, получается разгадка вопроса, откуда экс-шах достал денег на начало своей экспедиции...»

18 января 1911 года в журнале «Молла Насреддин» появляется короткая сатира «Диалог» все с тем же одиозным героем. Всего 8 строк, но они производят впечатление целого комедийного произведения.

Мамедали

Привет, дражайший мой султан, скажи, как чувствуешь себя? А я извелся весь, пока одну красотку обольщал! За ней с подарками в руках я всю Европу обошел, Но сучья дочь не поддалась, как я ее ни улещал!

Гамид

Мамедали, мне, как на грех, давно уже не до утех! Пилу с киркою я сложил, в надежном месте их укрыл. Холера, говорят, у нас. Я испугался и тотчас Весь дом лекарствами набил, дворец в аптеку превратил!

18 января 1911

О любовных похождениях шаха М.А.Сабир опубликовал обличительную сатиру в журнале «Молла Насреддин» № 4 от 25 января 1911-го года.

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ МЕМДЕЛИ В ЕВРОПЕ

Мемдели

Сжалься надо мной, мадмазель! В сердце страшный зной, мадмазель! Я еще в Одессе мечтал О тебе одной, мадмазель! Скрыть тревоги след я хочу! Жить с тобой без бед я хочу!

Мадмазель

Убирайся вон, Мемдели!
Весь в крови твой трон, Мемдели!
Не могу я видеть тебя,
Слыша бедных стон, Мемдели!
Потопил Иран ты в крови!
Я грозы тех лет не хочу!
Жить с дубиной? Нет, не хочу!

Мемдели

Я грознее туч был для них! Как судьба, могуч был для них! Окруженный славой, богат, Я как божий луч был для них! Не забыл Иран обо мне! Видеть славы свет я хочу! Жить с тобой без бед я хочу!

Мадмазель

Ты — забытый всеми подлец, Твой давно растоптан венец! Современный деспот Немруд, Где твоим злодействам конец? Я с тобой, презренный стократ, Изумлять весь свет не хочу! Жить с дубиной? Нет, не хочу!

Мемдели

О, не думай ты, что Иран Превратился весь в чуждый стан! Кликну — волки-слуги сейчас Отвоюют мне Тегеран! Растерзать народ, будто скот, Дать на всё ответ я хочу! Жить с тобой без бед я хочу!

Мадмазель

Ты, пожалуй, прав, Мемдели, Но часы иные пришли! Не погибла честь! Берегись Ты сынов иранской земли! Не свершишь ты подлых затей! Буйствуй, пустоцвет, — не хочу! Слушать мерзкий бред не хочу! Ты судьбой отпет, — не хочу! Гнить за низким вслед не хочу! И отстань ты раз навсегда! Жить с дубиной? Нет, не хочу!

25 января 1911

... Как же закончилась жизнь этого трагикомедийного героя?

В феврале 1920 года (в месяце эсфенд 1297 года хиджри-шемси), когда большевики подошли к Одессе, Мохаммед Али со всей своей многочисленной свитой сел на французский корабль, отправляющийся в Стамбул. Однако по пути в Черном море англичане конфисковали корабль под предлогом того, что на корабле могут оказаться большевики. После урегулирования вопроса с английским посольством в сопровождении одного английского офицера была выделена моторная лодка с флагом «Ширу Хоршид» («Лев и Солнце» — герб Ирана со времен Сельджуков вплоть до Исламской Революции) для высадки шаха и его семьи в порту Стамбула.

В Стамбуле Мохаммеда Али и его семью приняли радушно и обеспечили жильем и всем необходимым. Но выходцы из Азербайджана, нашедшие в Стамбуле убежище, открыто обвиняли его в жестоком подавлении иранской революции и ужасающем состоянии простого народа.

В Стамбуле бывший шах не задержался. Вскоре он отправился в Италию, в город Сан-Ремо, один из наиболее известных городов на Лигурийской Ривьере.

В XIX веке этот курорт был излюбленным местом отдыха масонов. Особенно часто в Сан-Ремо приезжали члены семьи Романовых, в частности, жена Николая I — Александра Фёдоровна. Главная набережная — Corso della Imperatrice — названа в честь русской императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. В 1913 году в городе для русских была освящена православная церковь — Храм Христа Спасителя.

Здесь жили выдающиеся художники, композиторы и ученые, такие, как Клод Моне, Петр Чайковский, Альфред Нобель — основатель всемирно известной премии, самые известные королевские семьи Европы. 16 мая 1926 года здесь умер Османский султан Мехмет Шестой. Мохаммед Али-шах жил в Сан-Ремо до 5 апреля 1925 года, не дожив до своего 53-летия, как и его отец. Похожая судьба ожидала и его сына Султан Ахмед-шаха, последнего шаха из династии Гаджаров, также устраненного от престола. В 1930 году в 32 года он тоже умер на чужбине, но во Франции, Париже...

марк берколайко *СЕДЕР НА ИСКРОВСКОЙ*

Когда ж придет дележки час, не нас калач ржаной поманит, и рай настанет не для нас.

Б.Окуджава

I

Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.

Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа. Я стал часто видеть их во сне...

На гульбе в честь своего семидесятилетия дед сдавил переднюю ножку тяжеленного стула и поднял его с пола на вытянутой руке. Плечо бывшего молотобойца сработало играючи, только крупная кисть, вцепившаяся в изогнутое основание ножки, побелела, выделив лиловый орнамент переполненных вен.

Повторить это смог только огромный, шумный дядя Коля, Коля Рябинкин, муж маминой сестры, тети Шевы. И то пришлось ему покряхтеть, и очки соскользнули с крупного носа, и дышал он потом прерывисто и тяжело. А отдышавшись, завопил:

– Ну, Григорий Яковлевич, ну вы – мужчина! Уважаю!!

А совсем немного лет спустя дед умер. Умирал тяжело, в бесчеловечной бакинской июльской жаре, и машины, проезжавшие мимо невысоко поднимавшихся над тротуаром окон, чмокали шинами, отлипавшими при каждом обороте от вязкого, жирного асфальта...

Впечатление, будто весь Баку пропах нефтью, возникало нечасто. Только осенью или ранней весной, когда ветры дули от Черного города, расстилались дымы нефтеперегонных заводов, и повсюду висел дух воистину тяжелой индустрии. Он въедался в плоть бакинского люда и заталкивал в его задыхающиеся легкие угар ударных темпов пятилеток.

Но когда летними вечерами, смягчая жару, от бухты дула благословенная «моряна», то к ароматам моря, к дымкам прибрежных шашлычных и чайхан едва примешивался запах мазутных пятен, напоминая, что и в основе духов, в основе томительной сладости «Красной Москвы» лежат высокие фракции все той же бакинской нефти.

Однако по зажатой между холмами улице Искровской, по этой узкой горловине, лишь последними своими метрами взбегавшей наверх, к Кемерчи-базару, «моряна» никогда не пролетала. И асфальт размякал, и прижимался в торопливых засосах к вечно спешащим шинам, и источал резкий запах неутоленного подросткового влечения.

Много позже, когда экраны наших телевизоров стало пучить от быстрой голливудской стряпни, услышал я в тишине ночной квартиры такие же торопливые чмоканья поцелуев, символизирующие волну страсти, накатившую на полнокровных героев и героинь. И было это смешным и немного тошнотным, хотя тем летом схожие звуки будоражили воображение, отвлекая слух от частого поверхностного дыхания умирающего деда...

Иногда дыхание чуть успокаивалось, и дед звал в полузабытье бабушку — на древнееврейском, на идиш, на итальянском — но она не подходила. Коротко, мимолетно приходя в себя, он уже по-русски просил дочерей, мою мать или тетю Шеву обтереть его губкой, пропитанной горячей водой, но пока воду согревали на электроплитке или керогазе, дед опять уходил в свой многоязычный полубред... а бабушка роняла спокойно и веско: «Нечего суетиться! Скончается — тогда обмоем!»

Она сполна мстила его распадающемуся телу за те часы, когда оно, еще горячее и сильное, щедро делилось своей витальностью с той — другой, с гойкой, шиксой, парвеню, выскочкой, разлучницей. Впрочем, и разлучнице мстила, не разрешив проститься с дедом ни при последних всполохах его уходящей жизни, ни потом, когда он лежал настороженно-задумчивый, словно прислушиваясь к еще не знакомой речи инобытия, ничуть не схожей ни с одним из семи языков, с которыми был на «ты»...

Я никогда эту женщину не видел, не знаю даже, как ее звали, поэтому представляю такой, к какой тянулся бы сам, когда б мне стала совсем уже чужой библейская бабушкина красота: невысокой, курносенькой, с крепеньким крестьянским телом, суетящейся вокруг наконец-то пришедшего деда. А ждала еще с утра, с неуверенного предутреннего просветления. Крутилась на постели, сохранившей его запахи, их запахи, запахи вырванного у ежедневных хлопот часа, когда детей отправляли поиграть во дворе, но надо спешить — ведь того и гляди стукнут в дверь: то ли дети... пописать им, видите, срочно захотелось: то ли соседка за луковицей... завтра, мол, отдам. Да пропади ж ты пропадом со своим «завтра»! Возьмет он, да и не придет завтра... мало ли, вдруг разлюбит... или жена не отпустит, найдет, чем занять. И не будет никакого «завтра», и не придет он больше, и ничего больше не будет...

Но он приходил. Каждым будним вечером, сорок с лишним лет...

Наверняка сорок с лишним, ведь я отчетливо помню, как незадолго до выноса к гробу подошла женщина этих примерно лет. Она держала за руку испуганно зыркавшего по сторонам мальчишку, потом притянула его, поставила перед собой так, чтобы он мог видеть мраморно-синеватое лицо, и сказала негромко: «Не вертись и попрощайся с дедушкой». Сказала негромко, но некоторые услышали. Она это поняла, прижала к себе сына и чуть угрожающе вскинула голову, по-славянски ладно круглую, но дедовой лепки — с невысоким лбом, тяжелым, нависающим над шеей и плечами затылком и невероятно густыми волосами, чуть по тогдашней моде тронутыми хной. Мальчишка, так и не уверовав в то, что это застывшее в гробу нечто — и есть дедушка, вскоре отвел глаза от лица и с почтительным интересом загляделся на поблескивающий на дальнем от него лацкане пиджака орден Ленина. А женщина стояла все так же напряженно, готовая отразить любое посягательство на их право прощания, но никто не посягал, готовились к выносу, оживленно перешептывались: открепить ли орден и понести его перед гробом или оставить так. Решили оставить, а открепить уже на кладбище...

Поразительно, сколько суеты всегда на похоронах и поминках – какое уж там, к черту, таинство смерти! Говорят, что это помогает близким пережить ужас потери... не знаю... Скорее помогает делать вид, что неутомимый косарь лишь ненароком забрел на наши луга, и не про нас, занятых столь важными заботами – что, например, делать с орденом или сколько пожарить котлет – не про нас его то мерная, то разудалая косьба...

Заговорили, что пора отпевать. Коммунисты вышли во двор, вроде бы покурить, а кантор, неопределенного возраста худощавый человечек, откинул голову, вслушиваясь в затихающий звук камертона, потом сконцентрировал в кадыкастой шее вдохновенную скорбь и затянул, наконец, поминальный кадиш. Но недаром говорят, что нельзя выводить на сцену детей – их естественность губит любые режиссерские задумки.

Мальчишка, изо всех сил приподнимаясь на цыпочках, так заинтересованно тянулся к ордену, что и кантор стал невольно глядеть туда же, словно уже не Богу, а лобастому вождю адресовал экстаз и смирение тысячелетних слов.

Так это все и соединилось: поминальная молитва над атеистом дедом; орден, который он не раз брезгливо именовал бляшкой: коммунисты во дворе, своим отстраненным покуриванием подчеркивающие неучастие в отправлениях культа; служитель этого самого культа, вдруг вышедший из наработанного годами образа... а нещадное бакинское солнце выжигало и не могло никак выжечь этот абсурд, эту межеумочность, этот долгий помрак огромной страны.

А под окном плакала Курносенькая. Плакала так же горько, как и во все двенадцать дней дедова угасания. Двенадцать дней... в горячечном жару, на горячечной жаре... стоя у окна его спальни с восхода солнца и до глубокого вечера.

II

Мать никогда не говорила отцу: «Сегодня пойдем к родителям», но всегда: «Сегодня пойдем на Искровскую» – словно квартира, в которой прошли ее детство и юность, была не родным кровом, а лишь совокупностью квадратных метров в определенном месте города. Однако не только наша семья, не только мамины сестра и брат со своими семьями, но и вся прочая родня, дальняя и сверхдальняя, охотно собиралась именно «на Искровской». Потому ли, что дед и бабушка почти не появлялись вместе, и для того, чтобы повидать их, что называется, разом, требовалось отправиться к ним? Или потому, что бабушка отменно пекла и готовила, а дед, высокомерно презирая условности вроде новой одежды, в отношении этого был скуповат, но легко позволял тратить свою персональную пенсию на хлебосольство? А может, родня, восхищенная интеллектуальным дедовым могуществом, тянулась к нему, как когда-то их предки в тоскливых местечках тянулись к раввину, ребе, чтобы поделиться последними новостями, чаще плохими, и полюбопытствовать, что говорится в Торе, в поучениях светочей еврейства о еще большем озлоблении и без того изрядно злого мира. Но пока ребе любяще трепетными пальцами перелистывает страницы священных книг, можно успеть посудачить о том, о сем... и что почем... и, совсем уже шепотом - кто с кем...

Огромную комнату не делали тесной ни две кровати с массивными металлическими спинками; ни кушетка, каждый бугорок которой я так хорошо ощущал, изредка ночуя на Искровской; ни тяжелое немецкое пианино; ни широченные и высоченные книжные шкафы, до распора заполненные книгами на бог весть скольких языках. Все это комнату не загромождало. Настолько не загромождало, что, когда деда не бывало дома, мы с двоюродным братом без помех носились вокруг огромного обеденного стола.

Черт-те какое количество гостей сбивалось за этим столом по праздникам! Но обычными воскресными вечерами собирались лишь ближайшие родственники, и дед восседал на своем обычном месте, в центре, лицом к прихожей, совсем крохотной, почти тамбуру. Входная дверь запиралась только на ночь – и стоило ее толкнуть после получасового путешествия от нашего дома в Крепости (Старом городе) до Искровской: сначала пешком, потом кружение на лязгающем, порывистом трамвае, потом опять пешком – стоило ее толкнуть, как появлялась привычная картина.

...Комната в полумраке... это оттого, что светит только одна вальяжно-пузатая лампочка под широким желтым абажуром... в центре комнаты световое пятно, а в нем середина необъятного стола... а за столом дед, оторвавшийся на секунду от чтения ради энергичного приветственного возгласа...

Глазам моим, привыкшим к темени плохо освещенных улиц, в первый миг больно видеть этот яркий центр комнаты, центр устойчивости бытия, в котором все

навечно: сверкающий под лампой ежик густых седых волос, уверенно лежащие на столе крупные руки бывшего молотобойца, а между ними – книга, чаще всего какогонибудь философа... чаще всего на языке оригинала...

Потом глаза приспосабливаются, и вот в полумрак прихожей вплывает бабушка – как капельдинерша навстречу припоздавшему зрителю, чтобы сказать негромко «Добрый вечер», и в полутьме комнаты, как полутьме зрительного зала, указать свободное место

…Поставив на огонь керогаза чайник, бабушка выносит из кухоньки, отделенной от прихожей тонкой фанерной перегородкой, блюдо со свежеиспеченным чемто… и зажигает в комнате все бра и торшеры – и появляются другие пятна света: пятно-пианино, пятно-кушетка, пятна-шкафы… Они сплетаются в дружном узоре, но на них глаза уже почти не реагируют, а вот та, первая картина, явившаяся в окружающей тьме, как «Да будет свет!», остается.

И, наверное, из-за нее меня будут впоследствии так завораживать мгновения, когда среди черноты сцены лишь актер освещен лучом прожектора, а его акцентированные жесты, повторенные пульсацией косо падающей тени, словно расставляют в страстном монологе знаки препинания. И о чем бы ни был монолог — он всегда об одном. О кратком миге света, в котором нам, случайно вырвавшимся из вечной тьмы, позволено побыть — и теснятся восклицательные знаки, жалобы на неизбежность ухода; лихорадочные запятые, отделяющие одно усилие вымолить отсрочку от другого; многоточия робкой надежды на то, что уход — не навсегда.

...Дед читал внимательно, но умудрялся при этом улавливать суть общего разговора. Его ничуть не раздражал контраст между очевидно сегодняшними темами воскресных пересудов и тем надмирным, вокруг которого плелись словеса в какомнибудь толстенном томе Гегеля или Спинозы. Более того, изредка отрываясь от чтения, дед вопрошал у моего несловоохотливого отца, единственного из всей родни коммуниста, о чем, к примеру, толкуют решения очередного съезда партии или пленума ЦК. Выслушав краткий, четкий ответ, скептически хмыкал и без малейшего напряжения нырял обратно в густой туман гегелевского текста.

Радио на Искровской не было. Газеты не выписывались. Правда, во второй комнате стоял телевизор «КВН» (так называлась марка). Огромный ящик с непропорционально маленьким экраном, на котором разглядеть что-нибудь, особенно движущееся, было нелегко, и поэтому к ящику пристраивалась большая линза. Этот телевизор для нас, внуков: меня, двух почти взрослых кузин, двоюродного брата младше на год — был главным призом за покорность, с которой мы плелись на Искровскую. Линза давала правильное увеличение лишь для тех, кто смотрел в ее центр, поэтому мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, и каюсь, удовольствие прислониться к упругим бокам и ножкам стремительно взрослеющих кузин много перевешивало впечатления от происходящего на экране.

Может, поэтому я и до сих пор не очень увлечен телевидением? Экраны стали невообразимо большими, а вот тесно прижавшихся ножек нет.

Дед, конечно же, мог бы знать все новости, если б смотрел телевизор, но его образу мудреца, лишь изредка снисходящего до суетности мира, это противоречило. Как бы то ни было, новости, обсуждавшиеся за его столом по воскресеньям, были окошком в реальность, которую, презирай, не презирай, но знать все же надо. Изредка мы приносили ему газеты, в которых, как считал отец, было что-то важное, дед проглядывал их (далеко не так внимательно, как Гегеля или Спинозу) и, на зависть будущим советологам, выуживал из междустрочья коммунистических газет точные прогнозы. По крайней мере, на ближайшее будущее.

Мать рассказывала, что на газетные истерики по поводу евреев – критиков и безродных космополитов дед реагировал сравнительно спокойно. Заметно мрачнел во время вакханалий по поводу генетики, кибернетики и языкознания. Но это была

не тревога патриарха за судьбу своего рода. Ему, вырвавшемуся из нищей юности, ставшему доктором химии Римского университета, магистром философии Сорбонны, полиглотом, было невмоготу противно, что судьбы страны и мира вершит плохо говорящий по-русски, стремительно маразмеющий старик, несомненная гениальность которого (по крайней мере, в части виртуозного манипулирования массами) уступила место самодовольному: «Нэ понимаю, значит, уничтожу!»

Но вот когда заголосили о еврейских врачах-убийцах, дед буквально помертвел. И сказал старшей дочери, моей матери: «Пора. Не больше двух чемоданов. Документы. Самое теплое. И самое ценное». И грозно — бабушке: «Все украшения раздай детям. Мы с тобой сдохнем здесь».

Может быть, не мыслил себя без живущей в нескольких кварталах Курносенькой. Или без своих любимых книг. Или просто мечтал умереть героически, с вызовом. Может, видел мысленно, как в незапертую входную дверь вваливаются гэбисты (как когда-то в одесскую квартиру вваливались чекисты), дают час на сборы, а он, оторвавшись от Гегеля или Спинозы, говорит им высокомерно: «Хватит меня гонять. Набегался. Никуда мы не поедем. Стреляйте и будьте прокляты!» И они стреляют, и он уносится к Богу и задает ему давно мучающий вопрос: зачем, давая талант тем, кто вовсе не собирается зарывать его в землю, Он, Всевышний, словно нарочно устраивает так, что талант тонет в грязи, в болоте, в дерьме?

Но случись выселение, все было бы гораздо проще. Зачем, спрашивается, стрелять, а потом объясняться? Вломили бы в ответ на героические слова прикладом по башке, швырнули бы бездыханного в грузовик, а вдогонку, из особой милости или из смеха, зашвырнули бы Гегеля. Или Спинозу. Потом в товарный вагон, строго по списку, чтобы ответственный за выселение евреев из Баку мог бы отчитаться наверх: «Город очищен на сто процентов. Эксцессов не было». А потом, недели через две, где-то на Дальнем Востоке ответственный за прием эшелонов вычеркнул бы фамилию деда из списка живых прибывших и внес бы в список умерших по дороге. И доложил бы наверх: «Эксцессов не было».

И был бы абсолютно прав, поскольку труп старика — это не эксцесс, а естественная убыль. А чей там труп: доктора ли химии Римского университета или просто жидовской морды... да какая, на х..., разница?

III

В моей памяти дед и Искровская всегда вместе, но почему Искровская — это именно «Искровская», а не какая-нибудь «Предбазарная»? Не потому вовсе, что на ней располагались кузницы, в которых искрилась отбиваемая окалина, не потому, что в многочисленных чайханах близ Шамахинского (Кемерчи) рынка улетали в черное южное небо снопы искр от раздуваемых самоваров; нет, совсем не потому.

В честь большевистской газеты «Искра» была она так названа. И опять же не потому, что здесь жили самые преданные поклонники этого набата революции. Обитатели улицы и по-азербайджански читать толком не умели – где уж им было разбираться в постоянной сваре большевиков со всеми прочими знатоками марксизма.

Просто здесь в начале теперь уже прошлого века где-то между чайханами и хашными, между шашлычными и кебабными втерлась подпольная типография «Нина».

В ней, по версии Лаврентия Павловича Берии, изложившего в знаменитой своей книге историю большевистских организаций Закавказья, печаталась «Искра».

Когда я учился в четвертом классе, нас повезли туда на экскурсию. Небольшая комната с совсем уже небольшим подвалом, в котором едва помещались массивный печатный станок и Валентина Даниловна, наша учительница до пятого класса, нестарая еще, но высохшая в своем одиночестве жрица советского воспитания.

Она спустилась в подвал, заставив нас сгрудиться вокруг люка, который во времена подполья заслонялся от мерзкого ока царской охранки огромным сундуком. Сундук был воистину устрашающ! Теперь он стоял в углу комнаты, был огорожен багровым канатом и мог бы спрятать в своих недрах полкласса или половину Алмазного фонда страны.

Об Алмазном фонде я упомянул не из-за поклонения Мамоне, а потому, что мы с Вовкой, прочитавшие только что «Копи царя Соломона», едва взглянув на сундук, тут же заспорили шепотом, сколько самородков из этих самых копий могло бы в нем поместиться. Мы спорили яростно, с темпераментом толкователей Торы. Мы называли фантастические цифры размещаемых в сундуке каратов, мы упивались самим звучанием слова «карат», мы произносили его, вопреки правописанию, с двумя, тремя, десятью «р» — благо, возможная местечковая картавость была изничтожена у нас нашими родителями в самом раннем детстве. И не беда, что ни Вовка, ни я ни одного алмаза в глаза не видели! Спор — это способ существования активного еврейского ребенка, и чем меньше понятен ему предмет спора, тем более он активен.

Нам с Вовкой мешала только Валентина Даниловна. Чутким своим ухом она иногда улавливала наш страстный шепот и вопрошала из подвала зовом, пронзительным, как неразделенная любовь: «Ученики Берколайко и Зауберман! Вы – опять?!!» Этот экзистенциальный вопрос, звучавший – в прямом смысле слова – из большевистского подполья, заставлял нас временно отвлекаться от сундука и каратов. И слава богу, что заставлял! Ибо одно из отвлечений пришлось на очень интересное место из рассказа Валентины Даниловны: почему подпольная типография называлась «Нина».

– Это давало большевикам возможность, – горячилась Валентина Даниловна, – назначать друг другу конспиративные встречи словами: «Сегодня вечером собираемся у Нины». Вы понимаете, как это сбивало с толку царских жандармов?

Еще бы нам не понять! Слишком много книг «про шпионов» мы прочитали, чтобы не оценить гениальность такой конспиративной находки! В самом деле, если б большевики говорили друг другу: «Сегодня в семь собираемся в подпольной типографии у Шамахинского базара», то даже дурковатые царские жандармы сообразили бы в конце концов, что дело нечисто. А вот заглянуть на вечерок к веселой Нине, знамо, для чего собирающей столько мужиков разом, — тут для дурковатых жандармов ничего странного не было.

...Для чего именно стоит собирать столько мужиков, нам было действительно знамо, ибо накануне летом нас пристроили в пионерлагерь «Азнефти» под Баку, и там ребята из старшего отряда, обуянные духом просветительства, открыли наши наивные глаза на то, откуда берутся дети. Открытие глаз сопровождалось показом скверно отпечатанных, затрепанных фотокарточек, на которых процесс детопроизводства демонстрировался в широчайшем диапазоне: от лишенных нежности прелюдий до лишенных изящества свальных сцен.

Почему же не штатный экскурсовод, а Валентина Даниловна вещала о типографии, да еще и в столь не привычном для советского педагога состоянии: не сверху вниз, а снизу вверх? Дело в том, что она четыре года назад возила на экскурсию свой предыдущий класс, и ей решительно не понравилось, что экскурсовод, пожилой, одышливый азербайджанец, рассказывая о печатании пламенной «Искры», сам не воспламенялся. Наша нервная жрица за четыре года прочитала кучу книг о типографском деле и так переполнилась информацией, что обойтись формальным: «Ученики и ученицы! Вот печатный станок, вот люк, а вот сундук...» — никак не могла. Повествовать из глубины было ее счастливым дидактическим открытием. Тем паче, что оттуда, из подвала, особенно символично звучало и пушкинское: «Во глубине сибирских руд...», и ответ Одоевского, слова из которого: «Из искры возгорится пламя!» побудили Ленина назвать свою газету столь пожароопасно.

Бедная Валентина Даниловна! Воистину, она не предугадала, как странно отзовутся ее слова в наших с Вовкой чересчур пытливых умах! Но что оставалось делать, если сомнения мучили нас неотвязно? Только искать ответы и находить их!

Самый главный ответ: без реальной, живой и соблазнительной Нины никакой конспирацией и не пахло!

В самом деле, рассуждали мы, такой сундучище не мог стоять на люке пустым или полупустым, ведь любой случайно зашедший жандарм, пнув его, сразу заподозрил бы неладное. Стало быть, сундук был набит под завязку. Перед началом набора «Искры» его следовало сдвинуть. Ну, навалились наборщики, верстальщики и печатники (про все эти профессии нам подробно рассказала жрица), покряхтели... сдвинули. Спустились в подвал, начали набор. А тут — натеньки! — неожиданный визит жандарма... стук в дверь... вопль «Откройте, полиция!» Что делают большевики? Задувают лампы в подвале — это раз. Выскакивают наружу — два. Закрывают люк — три. Ставят (быстро, не кряхтя и, главное, бесшумно) сундук на место — четыре. Садятся за стол — пять. Открывают дверь — шесть. Входит жандарм и видит: сидят мужики, жрут водку, но руки-то от свинца черным-черны. «Ага, — думает жандарм. — Значит, наборщики, верстальщики и печатники. В одном месте собрались... И долго не открывали... не иначе, что-то печатали!»...

...Стало быть (и это первый наш с Вовкой вывод), кроме типографских рабочих, должны были собираться еще и носильщики, которые переносят сундучище тудасюда. И должно было их быть немало, человек шесть. Но ведь жандарм может и подругому по-думать: «Ого, сколько носильщиков! Что это они тут носят? Уж не бомбы ли?!» К тому же в подвале полно наборщиков, верстальщиков и печатников, которым душно, которые тяжело дышат...

Второй наш вывод: внимание жандарма должен кто-то отвлекать! Кто? Вот та самая Нина, скорее всего, пухлая блондинка. Как отвлекать? Тут мы посмотрели друг на друга и покраснели. Потому что вспомнили одно и то же. Фотографические карточки.

Третий вывод произнесен не был, но рожден был. Наши длинные языки нашептали его остальным пацанам класса, и вот поздней осенью 55-го года, в помпезном, всегда пустом сквере, расположенном недалеко от школы, перед музеем истории большевистских организаций Азербайджана, ниже постамента высоченной статуи Сталина, состоялась премьера поставленного мною действа: «Большевичка Нина отвлекает внимание царского жандарма».

В качестве сценической площадки был выбран бассейн фонтана, естественно, бездействующего. На одной стороне его борта сгрудились зрители — пацаны из нашего и смежного классов. На диаметрально противоположной стороне, как на сундуке, сидели, болтая ногами, шесть носильщиков. Под их болтающимися ногами лежали пузом на ранцах несколько наборщиков, верстальщиков и печатников. Они пыхтели, изображая тяжелое дыхание запертого в подвале трудового коллектива, и постукивали палочками по днищу фонтана — это был шум печатного станка.

Играющий жандарма Коля Холодов шел рыскающей розыскной походкой от непосредственно фонтана к видимым носильщикам, а также невидимым верстальщикам. Он зловеще поигрывал «эфесом» шашки — толстенной палки, заткнутой за ремень, и взволнованные зрители понимали, что эта-то сволочь непременно погубит типографию, а может быть, и все большевистское движение Закавказья. Но навстречу губителю порывисто кинулась Нина — то бишь Вовка, под ученическую куртку которого были впихнуты два детских резиновых мяча нехилого диаметра и почти первозданной упругости. Весь Вовкин вид выражал такую беззаветную готовность к прелюбодеянию, что жандарм, хоть и сволочь, но все же мужик, замедлил шаг.

- Кто такие? проорал он, указывая на нахохлившихся обитателей насестасундука.
 - Братаны! громким фальцетом ответил Вовка.

- Что, все твои?! не верил жандарм, сравнивая злые многонациональные лица носильщиков с мононациональным Вовкиным лицом.
 - Все, как один! пропищала «Нина», судорожно дер¬гаясь мячами.
- А что там стучит и дышит?! совсем уже не веря, вопросил Холодов, наполовину обнажая шашку.
- В этот кульминационный момент «Нина» использовала извечную женскую уловку, почерпнутую мной из тайком прочитанных романов.
- Ах, это стучит мое сердце! проверещал Вовка, силой наклонив голову тщедушного Холодова *под* левый мячик и силой же кладя оторванную от эфеса руку Холодова *на* тот же мячик. – Послушайте, как оно стучит, и как шумно я дышу!
- Вот сейчас проверю у всех паспорта! просипел полузадушенный, но заметно помягчевший Холодов.
- Зачем же вам их паспорта? добила «Нина» его служебное рвение. Возьмите лучше мой паспорт! и она втолкнула свободную правую «грудь» в кисть тоже свободной, но левой жандармской руки. Так они и застыли. И то, что должно было случиться меж ними потом, я не решился бы поставить на сцене даже сейчас...

Но пауза не была томительной, ибо вскоре случился апофеоз. Я взобрался на широкое жерло фонтана и оттуда проорал статуе Сталина и осеннему небу: «Наш скорбный труд не пропадет! Из искры возгорится пламя! И просвещенный наш народ! Сберется под святое знамя!!» Знамени не было, зато заранее предупрежденная часть зрителей закричала «Ура!» и замахала сорванными с груди пионерскими галстуками, изобразив уже вполне просвещенный народ.

Получилось очень красиво. Но все ограничились премьерой, потому что взбунтовались молчаливые братаны-носильщики. Они предложили, дабы не отдавать пышные груди большевички в лапы царской охранки, жандарма застрелить, причем сразу, без всяких там фиглей-миглей.

- А куда мы денем труп? вопрошал я.
- В подвал сбросим, возражали мне. А наборщики, верстальщики и печатники оттуда вылезут, и мы все вместе пойдем бить других жандармов. Их будут играть пацаны из «4-6».

Конечно, мне тоже хотелось хорошей кучи-малы, но! Но тогда бы получилось, что первое вооруженное восстание пролетариата состоялось не в 1905-м, в великой столице Москве, а гораздо раньше, в пропахшем нефтью Баку. И я отказался и, с точки зрения исторической правды, был совершенно прав.

Но как завидно стало мне много лет спустя, когда прочитал полную исторических неточностей пьесу Петера Вайса «Преследование и убийство Жана Поля Марата, разыгранное обитателями сумасшедшего дома в Шарантоне под руководством маркиза де Сад». Ведь как великолепно могла называться моя постановка: «Великая битва бакинских носильщиков, наборщиков, верстальщиков и печатников с царскими жандармами, сыгранная у подножия десятиметровой статуи товарища Сталина». Скорее всего, она не стала бы классикой, как пьеса Вайса, однако согласитесь, по крайней мере, что подножие статуи товарища Сталина куда величественней какой-то там парижской психушки!

…Но шутки шутками, а счастье наше, что все эти кривляния не увидел никто из взрослых, а небитые пацаны из «4-6» помалкивали. Конечно, уже 55-й год, уже больше выпускали, чем сажали, но…

Это позже, это потом стали говорить почти в полный голос, что никакая «Искра» в Баку не печаталась, что весь тираж ввозили в Россию под своими широкими юбками дамы-большевички, что вообще никакой типографии не было, что все это напридумывал Берия, дабы возвеличить роль жившего в начале века на бакинских нефтепромыслах Сталина, а такое название для типографии батоно Лаврентий придумал в честь жены...

Однако детей на экскурсии возили до конца 80-х, а улица так и оставалась – «Искровской».

IV

В своем родном местечке дед окончил без особых успехов хедер, начальную религиозную школу. Отец его, мой прадед, умер рано, семья нищенствовала, и даже бар-мицву деду справляли какие-то родственники. Бог знает, кому из них пришла в голову мысль отдать невысокого, щуплого мальчишку в подручные к сельскому кузнецу: бог знает, почему кузнец взялся учить этого доходягу нелегкому своему ремеслу. Наверное, и на кузнеца деньги с неба не сыпались, село было бедным, и выбирать подмастерьев было почти не из кого. Брал, что подворачивалось; подвернулся тощий жиденок, ну и ладно — загнется, так Христос не заплачет.

Однако ж звезды на дедовом небосклоне располагались, как надо. И то, что в хедере учился без блеска, тоже оказалось на руку: ну, схватывал бы на лету куски из Танаха, ну, восхитил бы с десяток сутулых талмудистов, и воспитали бы они его таким, какими были сами — получахоточным, с отрешенным взглядом нежильца. А так физический труд, грубая пища в доме хохла-кузнеца (сало дед трескал за милую душу до самой смерти) сотворили чудо. И хоть росту прибавилось немного, но широченные плечи, но сильные руки! И это так выделяло его среди сверстников, местечковой затхлостью обреченных на физическую немощь, что жизнь представлялась ему не иначе, как череда решений всему вопреки и действий всему наперекор. Из такого материала извечно близорукая российская власть пачками производила своих могильщиков, но бредни о всеобщем равенстве деда никогда не увлекали. Не чувствовал он, полуграмотный крепыш, себе равными ни соплеменников своих, задавленных двумя тысячелетиями гонений и погромов, ни крестьян-соседей, готовых удавить за копейку и удавиться за рубль.

Был он, Герш Аврутин, и был мир. Немилосердный, грубо, Богом ли, дьяволом ли сработанный, но мир, которому надо было доказать, что Герш Аврутин — есть! И извольте считаться!

Скопив немного денег, он в 18 лет уехал в Херсон. Там, изредка подрабатывая грузчиком в гавани, изредка нанимая репетиторов, за четыре года сдал экстерном полный курс классической гимназии. И не просто сдал, а получил золотую медаль.

Непостижимо! Латынь, греческий, французский, немецкий; только языков – четыре! А ведь для него тогда и русский-то был почти иностранным!

...Есть два великих романа: «Красное и черное» и «Мартин Иден». Оба о людях, к которым мир был враждебен изначально. Жюльен Сорель ввинчивался, вкручивался в этот мир. Мартин Иден — вламывался. Оба закончили крахом. Но каким величественным крахом, какие изумительные страницы им посвящены! И когда читаю, как неграмотный моряк за считанные годы сделал себя ярким писателем и философом, вспоминаю деда.

Можно ли сказать, что его жизнь закончилась крахом? Внешне все так. Дважды был взбесившимся быдлом разорен и начинал с нуля. Над его аналитическими записками об использовании дикорастущего граната, покрывавшего невысокие склоны гор, в Госплане Азербайджана смеялись (подруга матери, работавшая в том самом Госплане, сказала ей как-то: «Попроси отца не посылать нам больше эти записки, над ними все смеются»). Умирая, мечтал, как о райском блаженстве, о возможности принять ванну. Ни в ком из детей своих не видел проблесков собственных громадных способностей, собственной бешеной витальности. Все это смотрится крахом. Но сам он вовсе не выглядел потерпевшим поражение...

После получения золотой гимназической медали дед недолго размышлял: а что дальше? Пробиваться в российские университеты с их процентной нормой для евреев

значило вкручиваться в мир, а дед хотел вломиться. Потому уговорил дальнего богатого родственника одолжить ему немного денег, выправил заграничный паспорт и махнул в Рим. Почему в Рим? А потому, что Италия в начале прошлого века развивалась стремительнее и интереснее всех прочих в Европе. Те самые итальянцы, которых воспринимали не иначе, как теноров, художников, карбонариев и романтических любовников, оказались вдруг прекрасными математиками, физиками, инженерами; людьми едкого, практичного ума и редкостного трудолюбия. Им не надо было, подобно французам, соответствовать своей блестящей истории или, подобно немцам, — соответствовать великому духовному наследию. Им просто нужен был успех.

Во всем.

Равно, как и деду.

В Римском университете работала хорошая школа пищевой химии, и дед отправился именно туда. Видимо, после голодного детства и грубых харчей кузнеца само сочетание «пищевая химия» казалось пропуском в другую жизнь, тараном, который пробьет стены отгородившегося большого и кипучего мира, любящего вкусно поесть и увлекавшегося консервированием.

Герш Аврутин записался на первый курс Римского университета в 1906 году. Одолженные деньги быстро таяли, но ему ли было унывать! Через полгода он уже знал итальянский настолько, что начал давать уроки приезжающим из России и Германии студентам и стажерам. А еще подрабатывал гидом. А еще, сделавшись страстным меломаном, посещал оперные театры. Дневным поездом в Венецию или в Неаполь, или в Милан, три часа наслаждения любимыми Верди, Россини, Леонкавалло; потом ночным поездом обратно в Рим – и опять библиотека, лаборатории, репетиторство. Брешь в стене мира увеличивалась: полный курс университета – досрочно, магистерская диссертация, она же в Риме и докторская – досрочно. И вот через пять лет – красивый диплом в виде свитка плотной гербовой бумаги, а на бумаге затейливой каллиграфией, да на латыни: доктор химии Григорий Аврутин (долой Герша; Гершем он уехал из России – и не для того, чтобы Гершем оставаться!).

Зачем же он вернулся? Два университета Италии предлагали ему позиции на химических факультетах, в том числе и родной. Римский. А ведь он любил Рим! Как часто я заставал его листающим тяжелый альбом с видами Рима, и понятно было, что, вглядываясь в ему только приметные детали, он опять гулял по этой набережной Тибра, по этой площади, в этом проулке... И вернуться, чтобы закончить жизнь на Искровской, в нелепой, огромной, бивачного вида квартире, в которой не то, что ванной или туалета — кухни толковой не было! А ведь в Италии лет через десять он наверняка бы стал постоянным профессором, европейски известным ученым. И что там пищевая химия! Он мог бы заняться органической и поучаствовать в воцарении полимерных материалов; он мог бы заняться радиоактивными веществами и — кто знает? — работать с легендарным Энрико Ферми сначала в Италии, потом в Штатах...

Но что толку в этих «бы»! – он вернулся в Россию, и причиной тому были два человека.

Моя бабушка... Она была, бесспорно, красива чеканной, библейской красотой и появилась в жизни деда вполне закономерно, в соответствии с тем, что любое воспарение, любой полет, какими бы свободными они ни были, незаметно глазу, неподвластно анализу и не тревожно для интуиции порождают путы, сводящие всю эту свободу на нет. Счастье, когда есть ясный выбор «или — или»: молодость и Гретхен в обмен на сущий пустячок — в загробной жизни будешь рабом Сатаны... или не соглашайся, друг Фауст, дряхлей дальше и умри, понимая, что не жил...

А если никаких «или – или», а, скажем, так: конечно, Гершеле, дорогой мой родственник, наслышан о твоих успехах, горжусь тобой; конечно, деньги в долг дам... а, кстати, познакомься, моя дочь Голда. Как чувствовал, когда давал ей имя Голда – золотая, – посмотри, какая выросла красавица, золотце мое, услада моего сердца. И

мимолетный вежливый кивок, мимолетный взгляд больших, чуть сонных глаз... а Герш чуть зубами не скрежещет от нетерпения, спасибо за деньги, но отпусти же поскорее, старый болтун, какое мне дело до услады твоего сердца, когда мое собственное шарахает в грудь, как сбивающий окалину молот: «В Италию, в Рим! В Италию, в Рим!» И невдомек, что в комнате есть еще одно, третье сердце, а оно так сжалось при виде этих широких плеч, этой тяжелой кисти, радостно и намертво вцепившейся в пачку сулящих через две-три недели Колизей, Тибр и свободу. И невдомек, что в самой глубине вроде бы едва скользнувших по нему чуть сонных глаз была мысль: «Мой!» И через год пришло письмецо: дорогой родственник, твой похвальный пример так увлек усладу моего сердца, что она тоже решила изучать химию, и тоже в Римском университете. Ты уж встреть Голдочку, помоги ей с обустройством, а я тебе прощу треть долга.

И вот между лабораториями и репетиторством, библиотекой и бельканто урывается часок, а потом и другой — и красивые, чуть сонные глаза начинают странно волновать, внушая, что, кроме сумасшедшего крещендо вечного штурма, есть еще и тихая музыка покоя; и случайная фраза вдруг начинает значить больше мудрости толстенных томов, потому что завораживает то, как она сказана. Как дрогнул голос, взмахнули ресницы, завибрировал застывший воздух в маленькой комнатке... Завибрировал и опять застыл, тихонько посмеиваясь над суматохой Вечного города...

А еще был маленький вертлявый бесенок, то ли грек итальянского происхождения, то ли итальянец — греческого. Разбогатев на поставках в Россию лимонной кислоты, он задумал наладить ее производство где-нибудь на юге империи, на какомнибудь местном сырье. Ну, а где всего вольготнее такому вот предприимчивому греко-итальянцу? Разумеется, в Одессе. Он искал в Риме кого-нибудь, кто разработал бы технологию. Быстро нашел деда. Тот разработал. Это, собственно, и стало сердцевиной его докторской диссертации, а греко-итальянец купил оптом и технологию, и деда со всеми его грандиозными планами.

Григорий Аврутин радостно и свободно парил навстречу своей грядущей несвободе, но выговорил себе еще год. За этот год Голда, фактически уже жена, настойчиво убеждавшая, что жить надо в России, тоже станет с его помощью доктором химии, а сам он... Сам он, умудрившись во время работы еще и сдавать курсы на философском факультете, решил часть полученных за технологию денег потратить на изучение философии в Сорбонне.

Зачем ему нужна была философия, могу только гадать.

То ли он закрывал счета по своим прежним детским обидам – ведь в религиозной школе его считали посредственностью.

То ли почитаемый им Бенедикт Спиноза (а именно ему была посвящена магистерская диссертация в Сорбонне) своей судьбой прочерчивал пунктиры его собственной судьбы: мальчик Барух из небогатой еврейской семьи стал Бенедиктом и выдающимся философом.

То ли какими-то проблесками интуиции дед прозревал свое будущее «вавилонское пленение» и хотел напоследок насладиться свободой в самом свободолюбивом университете Европы...

Как бы то ни было, летом 1912 года доктор химии, магистр философии Григорий Яковлевич Аврутин с женой своей Голдой, ныне Ольгой Соломоновной, приехал в Одессу. Там через год родилась моя мать.

И был сделан первый шаг к тому, чтобы потом появились на свет моя сестра и я, наши дети, их будущие дети...

И был сделан Григорием Аврутиным тот последний шаг, после которого мир, уже почти его впустивший, с грохотом отгородился тяжелыми воротами.

И не помогли монетки, брошенные перед отъездом во все римские фонтаны, и замаячила впереди никакими волнами интуиции не прочувствованная Искровская...

В то же примерно время, когда Григорий Аврутин почти триумфально вернулся на землю Российской империи, в другом ее конце, в другой части необъятной черты оседлости, другой мой дед мерным шагом, без прорывов и перерывов, взбирался на вершину своей жизни.

Происходил он из семьи цадика — хасидского праведника, блаженного, человека «не от мира сего». Цадики не работали (община давала им скромное содержание), они молились, искали во всем следы Провидения и постоянно пребывали в некрикливой, радостной экзальтации. Радовались, что Всевышний, хоть и редко, но вспоминает о народе Своем, что птички радостно поют, что радостный снег искрится на солнце, а безрадостный дождь когда-нибудь прекратится. Только вот у многочисленных детей поводов для радости было сильно меньше. Надо было работать, не рассчитывая на милость общины и Провидения, и четырнадцати лет отроду дед устроился подростком на побегушках в местную контору петербургского купца первой гильдии Хаима Левина. Среди многих дел этого еврейского магната одним из самых крупных и прибыльных были лесоторговля и лесопереработка, а в Мозыре, маленьком белорусском городке, но с крупными по тем временам железнодорожной станцией и портом на реке Припять, располагался, как сейчас бы сказали, головной офис этого бизнес-дивизиона.

У другого моего деда не было никаких медалей, никаких мечтаний о сверкающих заморьях— только работа, только неукоснительное исполнение обязанностей, только тщание в соблюдении хозяйских интересов. Рассыльный, младший бухгалтер, бухгалтер, торговый агент, старший бухгалтер, товарищ управляющего, управляющий, — воистину, помикронное вкручивание в мир! И какая основательность, какая спокойная уверенность в том, что труд, много труда, еще больше труда — и придет успех, много успеха, еще больше успеха!

... Пора заводить семью? Нет, позже. А если вдруг любовь? Помилуйте, что значит «вдруг»? Жениться, заботиться о жене и детях — долг всякого порядочного человека. Это положено делать, значит, в свое время будет сделано. И в один из приездов Левина в Мозырь, году где-то в 1902-1903, бухгалтер Марк Залманович Берколайко, дельный работник, уже замеченный зорким хозяйским глазом, в ответ на шуточки о его затянувшемся безбрачии скромно сказал, что стоит на ногах уже достаточно крепко и ежели какой-нибудь уважаемый человек отрекомендует ему хорошую невесту, то... И вскоре деду шепнули, что в петербургских хоромах реб Хаима подросла его воспитанница, бедная родственница... и гимназию окончила... в общем, делайте выводы. Дед с достоинством «self-mademan» ответил, что почтет за счастье, но при двух непременных условиях: приданое девушке должно быть очень скромным, как если бы ее выдавали небогатые родители, а ему самому в дальнейшем — никаких поблажек по службе.

Думаю, дед не лукавил, ему и вправду хотелось лишь трудом и умом заработанных благ, он и вправду хотел верить, что воздаяние — всегда по заслугам. Потому и не было никаких поспешных продвижений ни после женитьбы, ни в результате ее, хотя не исключено, что Хаим Левин запомнил и оценил столь необычные требования.

Все шло своим чередом: карьера, достаток, в 1905 году родился старший сын, Натан; в 1911-м — второй сын, мой отец. А в сентябре 1916-го дед получил генеральную доверенность на ведение всех дел Левина по лесоторговле и лесопереработке и на распоряжение связанным с этим имуществом.

То было воистину торжеством мировоззрения самоучки-бухгалтера! Год он управлял огромным хозяйством Левина в Белоруссии. Целый год. Всего только год.

А потом все рухнуло. Через Мозырь прокатывались то немцы, то поляки; то красные, то белые, а чаще просто бандиты без цвета, но со стойкой сивушной вонью

из щербатых ртов. Забушевали погромы, и привыкшая к комфорту семья привыкла сутками отсиживаться в подвалах, а потом посылать на разведку младшего сына, беленького и круглоголового. Он бродил по улицам, прислушиваясь к пьяным выкрикам и определяя, пошла ли на убыль погромная ярость очередной банды или очередной дивизии дорвавшихся до свободы поляков, или очередной бригады Красной Армии. С ним вступали в жалостные беседы («Наш хлопчик!»), поглаживали по голове, давали хлеба и сала.

Всю жизнь потом мой отец удивительно ладно беседовал с пьяными и терпеть не мог, когда его пытались погладить по голове.

...То, что погромами брезговали немцы, понятно: еще не были разработаны безотходные технологии Аушвица, а вспарывать жидовские перины и животы штыками отменной золлингеновской стали – ну что за свинство, право!

То, что погромами не гнушались поляки, тоже понятно: вырвавшемуся наружу шляхетскому гонору сладок был ужас «тварей дрожащих».

Но красные?! Ведь во многих частях Красной Армии комиссарили евреи, и так увлеченно распинались они о пролетарском интернационализме! Что же, не слышны им были вопли гонимых соплеменников? Или слышны, но в расчет не принимались? Мол, побалуется трудовой народ напоследок, перед окончательной своей победой, но вот ужо засучит рукава и взметнет к небесам новую вавилонскую башню всемирного братства, а прорабами на этой стройке будут они...

И метался по фронтам неутомимый Лев, организуя разгром отборных белых дивизий, и проектировал контуры будущей Республики Земного Шара, но в самых горячечных своих снах, в самом жутком бреду, навеянном спиртом и кокаином, не видел он, что руководить строительством будет совсем другой Прораб, предусмотрительно проломивший башку проектировщика.

И поделом же им всем, ибо нет среди них невиновных! И Прорабу все поделом: и брезгливая нелюбовь собственной матери, и ненависть любимой жены, и исковерканные ничтожества-дети, и те часы, когда мычал он, обделавшийся и беспомощный, валяясь на полу своей тайной спальни!

Еще только раз дед, в честь которого я назван Марком, попытался подняться. Было это во времена НЭПа. Он тогда переехал в Ленинград и там сумел развернуть что-то связанное с деревообработкой. Но в конце 20-х НЭП прихлопнули, деда разорили, и он уехал с женой и младшим сыном сначала в Кисловодск, а потом и еще дальше – в Баку. Там и умер в середине тридцатых, надломленный крахами и ранним уходом старшего сына, Натана.

А тот удался в того самого цадика и в свою мать, мою бабушку: добрый, порывистый, радостный, чуть экзальтированный. И все надежды дед Марк перенес на наследника «титула и состояния», как смешливо именовал себя Натан в письмах из-за границы. Ему хватило таланта с блеском отучиться в Брюссельском университете и защитить там докторскую диссертацию опять же по химии (какие причудливые совпадения в жизни двух совсем разных семей, сошедшихся волею революций в пыльном Баку, где уже позже познакомились и поженились мои родители!) И обаяния Натану хватило, чтобы влюбить в себя внучку крупного бельгийского банкира, но вот банального житейского ума, чтобы остаться с нею в Брюсселе, не хватило. Мало того, что сам вернулся в Ленинград, так вдобавок, вступив в бельгийскую компартию, умудрился обратить невесту в свою радостную коммунистическую веру. И она, хорошенькая «декабристочка», четыре года сидела на чемоданах, ожидая, когда наконец разрешат ей упорхнуть из буржуазной неволи к любимому, в его на диво свободную страну. Но ее, к счастью, судьба охранила, все свои молнии направив на Натана. Вернувшийся доктор химии отслужил рядовым красноармейцем – равенство, так равенство! – потом еще два года добивался разрешения на приезд в Ленинград невесты, внучки банкира... а потом имел обстоятельную беседу в Большом Доме на Литейном, про который обычно не очень веселые ленинградцы сочинили очень веселый анекдот: «Товарищ, не знаете случайно, где находится Госстрах? – Нет, где Госстрах, не знаю, а вот Госужас – на Литейном».

После беседы Натан изготовил в своей лаборатории какой-то сильный яд... и ушел.

Дед Марк умер задолго до моего рождения в той самой квартире, где я потом прожил все 22 года своего пребывания в Баку. Там же умерла и бабушка. Их портреты висели в большой комнате, и дед всегда смотрел на меня сурово, словно наставлял: «Делай хорошо уроки — и воздастся!» А бабушка смотрела ласково, с той печалью в больших, добрых глазах, которая поселилась в них, наверное, когда прозвенел вокзальный колокол, и поезд повез ее из Петербурга в маленький, невидный Мозырь, в долгую жизнь с честным, немногословным и нелюбимым бухгалтером...

Квартира располагалась в Крепости, Внутреннем городе, Ичери Шехэр, неподалеку от знаменитого Дворца ширваншахов. Ни нормальной кухни, ни, разумеется, ванной, ни, конечно же, туалета (ох, умели ценить комфорт мои деды!), но зато из окон большой комнаты и насквозь продуваемой веранды была ясно – рукой подать! – видна великолепная бакинская бухта.

И улица называлась не какой-то там «Искровской», а горделиво – Тверской.

Так что часто удивлял я в молодости знакомых москвичек, роняя небрежно: «А я вот вырос на Тверской!»

VI

Итак, Григорий Аврутин, дед мой по матери, прибыл в Одессу. Хочется думать, что прибыл морем. Триумфаторам пристало неспешно и торжественно спускаться по трапу, с борта так же торжественно вошедшего в порт белого парохода.

Прибыл, дабы вступить в совладение первым в Империи заводом по производству лимонной кислоты. Официальная тогдашняя его должность, главный инженер, теперь более соответствовала бы названию «директор по производству», ибо отвечал он и за технологию, и за ритмичность работы, и бог еще весть за что. Греко-итальянец занимался поставками сырья и подсчетом выручки, которая росла так стремительно, что радостного потирания рук явно не хватало, да и восторженного хлопанья по собственным ляжкам — тоже. Адекватной реакцией на такое крещендо ежемесячного сальдо могла быть только жаркая помесь сиртаки с тарантеллой.

Хотя дед владел лишь малой долей этого вкусного пирога, она, доля, выливалась не только в фантастический для недавнего бедного ученого оклад, причем в золотых рублях, самой твердой в тогдашнем деловом мире валюте, но и в предоставленный заводом элегантный выезд, и в четырехкомнатную квартиру недалеко от морского вокзала, и (этой льготой дед особенно гордился) в абонируемую на весь сезон ложу-бельэтаж в оперном театре.

В феврале 13-го родилась моя мать. Ее назвали нееврейским именем Матильда – дед тогда еще ощущал себя прежде всего европейцем, да и любил очень арию из «Иоланты»: «Кто мо-о-ожет сравниться с Матильдой моей?!» Но родившуюся в 16-м вторую дочь назвали по настоянию более приземленной бабушки уже вполне традиционно: Шевой. А в лихом 19-м родился и долгожданный мальчик, Соломон.

Одессу во время гражданской войны неоднократно брали то белые, то красные, но погромов в исторически многонациональном городе не было, к стенке ставили исключительно из классовой ненависти. Греко-итальянец сбежал, завод не работал, дед жил тем, что умудрялся прямо во дворе своего буржуазного дома варить из всякой всячины едкое хозяйственное мыло, всегдашний дефицит во времена войн и смуты. Варево разливалось по ящикам письменного стола; позже, наряду с книжными шкафами, звучным немецким пианино и необъятным обеденным столом, он пе-

ревезен был в Баку, но стоял в задней комнате, ибо был весьма, после трехлетнего участия в мыловарении, обшарпан.

Когда мыло застывало, дед нарезал его на бруски и обменивал на еду и одежду. Поскольку топливо для мыловаренных котлов он заготавливал сам, то руки его от этого «производства полного цикла» замозолились и задубели, что однажды спасло его во время нежданного визита чекистов. В квартирах престижного дома те набирали «буржуев» для очередной партии заложников, многих соседей взяли, но дед настаивал на своем пролетарском происхождении. Тогда старший группы, матрос, полупьяный от самогона и донельзя счастливый от ниспосланной ему роли высшего судии, велел: «Покажи руки!» Увидев мозолистые крупные кисти бывшего молотобойца, вынес вердикт: «Таких мозолей у буржуев не бывает!» С тем и удалились соратники аскетичного Феликса, прихватив, правда, все мыло и почти все съестное. Может, реквизировали для нужд революции, но расписку не оставили.

А когда НЭП стал набирать обороты, деда позвал в Баку бывший управляющий кавказским отделением знаменитой чайной фирмы Высоцкого Мирон Гинзбург, муж бабушкиной младшей сестры Этель, Эти. Неправдоподобно красивая была пара: дядя Миня — высокий, с портретно благородным, породистым лицом (недаром Гинзбурги издавна принадлежали к еврейской аристократии, вспомните, например, светского льва Галича), и тетя Этя, хрупкая, очень живая, улыбавшаяся так, что меня словно окутывало теплотой и любовью... На чайные плантации Высоцкого в Грузии и Азербайджане большевики наложили лапу тяжело и прочно, и оставшемуся не у дел, небедному дяде Мине хотелось заняться чем-нибудь неброским, невидным и нешумным. Он решил производить повидло: на паях с дедом купил какой-то полудохлый заводик на тогдашней окраине Баку, неподалеку от Искровской, и дело пошло. Рассказывали, что повидло было вкусным необыкновенно, что дед научился делать не только традиционно яблочное, но и айвовое, инжирное, терновое. Но душа его рвалась к тому, одесскому заводу. Тот, кстати, довольно быстро возродился, то ли встраиваясь в индустриализацию, то ли в руках какого-нибудь временно удачливого нэпмана. Но скорее все же первое, потому что в постоянно готовящейся к войне стране лимонная кислота стала почти стратегическим продуктом. Она была незаменимым консервантом, и ее требовалось все больше.

Дед разработал технологию выделения кислоты не из импортируемых цитрусовых, а из кожуры и косточек граната. В ход мог пойти даже дикорастущий азербайджанский гранат, который на склонах гор рос в изобилии. Но внедрить технологию не успел, в конце двадцатых завод у компаньонов отобрали. Слава богу, что самих не шлепнули. Впрочем, интеллигенция и предприимчивые люди от репрессий в Баку страдали, в общем, не сильно, зато коммунистов, особенно тех, кто имел несчастье помнить пролетарскую среду начала века, но с трудом вспоминал, что Сталин был, оказывается, героем номер один в мировом революционном движении, - тех стреляли пачками. Мир-Джафар Багиров, первый секретарь ЦК компартии Азербайджана, давнишний друг Берии, гордился тем, что всегда перевыполнял планы по чистке, спускаемые из Москвы, а уж планы-то и сталинский карлик Ежов, и батоно Лаврентий спускали напряженные. Мир-Джафар прозван был в Баку «Четырехглазым», ибо носил всегда очки; до бериевского пенсне чином не дорос, но в очках, говорят, даже спал. В 54-м году, на закрытом суде в Баку как бы вдруг заговорили о том, что дружба Четырехглазого с Лаврентием началась с совместной честной службы агентами внедрения то ли царской охранки, то ли английской разведки. И поговаривали, будто были у этой парочки особые причины на то, чтобы пускать в расход именно старых большевиков, слишком памятливых и не могущих взять в толк, почему кристально чистые ленинцы на задворках, а сомнительные личности – на тронах.

Дед после того, как завод отобрали, работал в каком-то скучном учреждении и писал аналитические записки в Госплан. О том, что потребность в лимонной кис-

лоте будет только расти. Что лимонная кислота, выделенная из граната, много дешевле всякой иной. Что качество ее можно сделать лучшим в мире, и что он знает, как этого добиться. Но в Госплане заняты были пятилетками, нефтью, бензином, соляркой, в крайнем случае, хлопком и спиртом. И на хрена ж им было думать о какойто там лимонной кислоте, если Москва такой задачи не ставила?

Москва спохватилась в начале войны, когда была потеряна Одесса. Лично Багирову было поручено увеличить производство на бакинском заводе в три раза. Из чего производить, ведь сырья-то не стало? — да хоть из говна, хоть из золота. Срок — полгода. Четырехглазый пообещал лично расстрелять половину республиканского правительства, если за четыре месяца производство не возрастет в четыре раза, а когда Мир-Джафар обещал расстрелять, да еще лично, верили ему безоговорочно. Из говна, которое товарищ Багиров рекомендовал в качестве сырья, лимонную кислоту не выделить — министерские это хорошо понимали, однако любая рекомендация республиканского вождя побуждала к напряженному ассоциативному мышлению: говнопомойка-отходы — и тут они вспомнили об аналитических записках, над которыми, судя по словам подруги моей матери, так славно потешались.

Деда разыскали и привезли к Багирову.

- Из чего будешь делать? рыкнул Четырехглазый.
- Из отходов садового и плодов дикорастущего граната.
- Во сколько раз увеличишь производство?
- В пять.
- Смотри, если что, пристрелю лично! Если сделаешь не забуду!

Разговор происходил ранней осенью сорок первого. А весной сорок второго деда — в салон-вагоне Багирова! — отвезли в Москву, где вручили орден Ленина. Но что орден? Орден — ерунда, бляшка. Главное, он опять работал, опять занимался химией, он опять придумывал кучу рецептур!

В сорок шестом его отправили на пенсию, правда, персональную. Под величайшим секретом сообщили, что о нем вспомнил лично товарищ Багиров. Еще раз похвалил, но потом заметил, что этому хорошему химику полностью доверять нельзя: ведь если он из какого-то говна смог выделить полезный продукт, то кто ему помешает из какого-нибудь другого говна выделить яд?!

Курносенькую дед встретил в начале двадцатых на своем заводе. Она была простой работницей, лет ей было не больше восемнадцати, сбежала она с матерью в Баку из вечно голодающего Поволжья, откуда-то, кажется, из окрестностей Саратова. И стала тайной женой моего деда, полюбив его сразу и безоговорочно; и молилась на него, как на Вседержителя; только Богу шептала она по утрам слова непонятные, заученные в детстве, а умному, зрелому, крепкому своему мужчине слова простые, которые учить не надо. Не знаю, чем она так тронула дедово сердце, своей ли этой безоглядной, всегда почтительной любовью, а может, я к ней несправедлив, может, была она мила той особой русской милотой, которая нежданно-негаданно вдруг вспыхивает в любой глуши...

Связь их стала известна и бабушке, и всему бакинскому еврейскому бомонду лет через пять, когда Курносенькая с перерывом в два года родила деду двух детей: девочку и мальчика. Опять же не знаю, может, дед и отговаривал ее рожать, чадолюбив он, по-моему, не был; во всяком случае, с нами, официальными, так сказать, внуками и внучками, никогда не сюсюкал и сблизиться не стремился. Но как бы то ни было, детей Курносенькой дед признал, так что все его пять детей были Аврутины.

Бабушка все рассказала дочерям. Те отца осуждали. Втайне, конечно, — не из тех он был, кого можно осуждать явно. В глазах еврейских семей дед свой интеллектуальный авторитет не потерял. Напротив, пренебрегая условностями, утвердил его еще более, а вот бабушка выглядела страдалицей, и подозреваю, что находила в этом горькое удовлетворение. Это давало ей возможность поквитаться с дедом за

те римские времена, когда она упорно, пуская в ход извечные женские хитрости, завоевывала его, а он не спешил пасть побежденным, исчезая то на несколько дней послушать в Милане что-нибудь великое в Ла Скала, то на несколько недель в Париж, дабы погрузиться там в изучение Спинозы. Он и теперь отгораживался от ее упреков либо заводскими заботами, либо, уже на пенсии, чтением Гегеля или все того же — будь он проклят! — Спинозы. Но все же, все же! Теперь можно было нападать, можно было наносить удары в любую минуту, например, неся ему из кухоньки чай с мелко наколотым рафинадом, можно было спрашивать: «А она тебе тоже чай каждый час заваривает?» На что он, не отрываясь от книги, отвечал из явно оборонительной позиции вынужденно нейтральным: «Ты мне мешаешь читать!» «И развлекаться!» — со слезой в голосе подхватывала бабушка и удалялась на кухню, чтобы повсхлипывать достаточно громко.

Тем не менее, каждым будним вечером он исчезал на несколько часов, дети Курносенькой радовались ему, как возвращающемуся с работы отцу, а внуки – как навещающему их любимому деду..

Нас он никогда не навещал. Ни когда мы болели, ни когда родители шумно отмечали наши дни рождения. Приходила на них только бабушка.

Один только его приход к нам, на Тверскую, я помню. В нашей квартире появилась тогда удивительно милая, ладная кошечка, Дымка, и дед вдруг совершил чудо — он пришел как-то в воскресенье днем, часа полтора играл с ней, потом заспешил и исчез, даже не выпив чаю.

Но как он играл с Дымкой! Молодая дурында с восторгом гонялась за веревочкой, которую он возил по полу, азартно кидалась на его приближающуюся руку, отбегала и прятала голову за выступ порожка, полагая себя невидимой. А дед хохотал, как ребенок, и единственный раз в жизни я слышал, как он умеет взахлеб смеяться.

Может быть, сама лишенная детства, Курносенькая распознала, как ему, умному, зрелому, крепкому ее мужчине, надоедает быть умным и зрелым, как мечтает он просто похохотать. Может быть, она умела заставить его забывать о тяжелой кузнечной работе, об адском напряжении херсонского учения, о необходимости вламываться в мир, завоевывать его раз за разом... и оказываться раз за разом на руинах... и искать забвения в мыслях великих философов, в рвущих сердце сладких мелодиях. Может, и отдаваться ему она умела то легко и радостно, то чуть испуганно, дабы почувствовал он себя вечно молодым фавном, догнавшим легконогую нимфу. Может, и детей она наставляла не рассказывать ему о школьных трудностях, о том, как хочется есть, о синяках и обидах, а играть с ним, дурачиться, беситься. Чтобы каждый вечер обретал он в ее нищей квартирке, в двух шагах от навсегда утерянного завода, просто детство, просто юность, просто молодость и беззаботность, которых никогда до этого у него не было. И которые вдруг появились, когда пора уже спускаться с горы навстречу туману небытия.

А может, шел он к ней наперекор миру, наперекор тому, что подумают и что скажут. И спешил каждый вечер, чтобы убедиться, что хоть здесь нет руин: нет и не будет. И уходил успокоенный, но потом опять спешил, чтобы опять убедиться.

Но это я сейчас домысливаю, фантазирую, гадаю – а тогда о существовании Курносенькой даже не подозревал. Хотя... если вспомнить один мартовский день 57-го года...

VII

Дни весенних каникул чертовски хороши, если, конечно, не свалила вдруг ангина, или мать, обеспокоенная возможной четверкой по русскому, не заставляет писать диктанты под какую-нибудь нудятину вроде «Записок охотника».

Зимние каникулы хуже. Что с того, что елка, подарки? Все это быстро приеда-

ется, и с каждым днем неотвратимо близится бесконечная третья четверть. То ли дело – весенние! После них сразу же «первый апрель, никому не верь»... верь только, что всего через месяц веселая демонстрация, и мой день рождения не за горами, и ничего нового не проходим, а значит, еще чуть-чуть, и «темницы рухнут».

И потому трижды ура весенним каникулам, особенно, если родителями решено (дабы не болтался без присмотра) каждый день отправлять меня на Искровскую, и можно, выходя пораньше, сэкономить за неделю приличную сумму «трамвайных» копеек, и бабушка каждый день печет что-нибудь вкусненькое, а дед согласен позаниматься со мной французским.

Английский, который уже почти год изучается в школе, – это язвительная, занудная училка, помешанная на оксфордском произношении дифтонга «th», а как эту несуразность можно хорошо произнести, когда язык должен прижаться к верхним зубам, а те еще толком не выровнялись?

Но французский — совсем другое дело! Это «Три мушкетера», это тайком поглощаемый Мопассан, это «Война и мир» с самыми первыми словами: «Eh bien, mon prince...» — и дальше все, кроме лакеев, шпарят по-французски, а ты вынужден смотреть перевод внизу страницы и чувствовать себя тем самым лакеем, навсегда отлученным от высокого стиля салонной беседы.

Итак, дед согласился, мать купила учебник для пятого класса, а я, забегая в мечтах года на три-четыре вперед, мысленно грассировал, как истый парижанин, ведя игривый разговор с Николь Курсель.

Кто это?! А фильм «Колдунья» по мотивам купринской «Олеси», а совсем еще юная Марина Влади в главной роли, а эти ее длинные, до плеч, распущенные светлые волосы, эти картинные позы, взывающие к немедленной эрекции! Однако ж Марина Влади, потрясшая воображение советских мужчин, а потом и Высоцкого, мое воображение почти не затронула. А вот второстепенную роль в этом фильме играла та самая Николь Курсель – и с нею флиртовать хотелось безумно.

Крепко сжимая в руке французский для 5-го класса, я шел бодрым шагом на Искровскую, и произносимые мысленно «Мадам!», «Мадемуазель?!» соответствовали, по-видимому, на лице моем гримасам столь залихватским, что встречные юницы и гражданки испуганно уступали мне дорогу.

Как и ожидалось, горячие печенюшки поспели прямо к моему приходу, но метал я их в рот без всякого гурманства, нетерпеливо ожидая, когда же дед погрузит меня в журчащие звуки языка бретеров и соблазнителей. Это значительно позже я узнал, что французы, в большинстве своем нимало не элегантные и не похожие на любимых героев игристых романов и повестей, истинным языком любви считают итальянский. И понятно, что, поведай я деду о своей мечте говорить о любви на языке любви, он с куда большим удовольствием учил бы меня итальянскому, и произносил бы я ласковые итальянские слова со страстью и певучестью голосистых гондольеров. Но, крепкий «задним» умом, тогда я нырнул всем своим недоразвитым «передним» в океан галльской фонетики. Однако дьявольщина! Почти сразу, «отфыркиваясь», обнаружил, что ненавидимый «the table» превратился в ненамного более благозвучный «летабль», что привычные «one, two, three...» звучат по-французски весьма похоже... ну, есть разница, конечно... но не более, как если бы зануда-училка, одетая в длинную, заштрихованную светлой кошачьей шерстью, юбку, перестала бы делать из своих бесцветных губ ротик снулой рыбы, а сложила бы их несвежим, мятым бантиком.

Дед быстро почувствовал угасание моего энтузиазма и с облегчением, поскольку учебник пятого класса явно вызывал у него тошноту, сказал:

– Так дело не пойдет. Так языки не учат! Возьми свои обожаемые и абсолютно пустые «Три мушкетера» на французском и на русском, сравнивай, работай со словарем, заучивай слова, а я поставлю тебе произношение и грамматику. Но учти, заниматься надо ежедневно. Сможешь?

- Нет. честно признался я.
- А я в Херсоне учил именно так. Но по новеллам Мериме, а не по твоим пустейшим «Мушкетерам».
 - Так то вы! промямлил я.
 - Плохо! заключил дед и погрузился в какую-то толстенную книгу.

Но не все еще было потеряно: в четыре часа дед обещал взять меня с собой в библиотеку расположенного неподалеку хлебозавода, а потом, как я рассчитывал, мы еще немного погуляем, и мне удастся задать мучивший в то время вопрос...

Да, интимные беседы с Николь Курсель, равно как и с любой другой французской кинодивой, стали разбитой мечтой, но в возрасте Керубино поменять мечту об одной заоблачной красавице на мечту о другой никакого труда не составляло, и под пеплом несбывшихся надежд сердце мое оставалось целехоньким.

А к обеду пришел дядя Абрам, младший бабушкин брат. В детстве он переболел менингитом, выжил, но превратился в вечно радостное дитя. Почему жена его, Ревека, тетя Рика, часто путающая кокетство с жеманностью, но, несомненно, яркая маленькая женщина, вышла когда-то за него замуж, понятия не имею. Подозреваю, что это должно было покрыть некие грехи ее девичества, но никаких явных следов былых шалостей — неприлично быстро после свадьбы рожденных детей — не существовало. Да и вообще она была бездетна, был у нее только солнечный, едва ли не гукающий и пускающий блаженные пузыри ребенок-муж.

Абрам работал в какой-то крупной конторе, Рика работала там же, но на куда более значимой должности. Складывая мозаику из оброненных при мне фраз, позже я понял, что Рика была долговременной любовницей начальника конторы, искренне к миниатюрной кокетке привязавшегося и пристроившего несоперника-мужа на какой-никакой оклад с весьма неопределенными обязанностями.

Приходить домой обедать Абраму позволялось редко, только тогда, когда у «начальника» не было никаких эротических планов на обеденный перерыв. Вот Абрам и заявлялся на Искровскую: иногда поесть, а иногда просто надоедало ему сидеть в конторе, тем паче, что его отсутствие сказывалось на работе остальных сотрудников скорее благотворно. Если же у любовников возникали планы не только на обеденный перерыв, но и на часок-другой после работы, то мужу назначалось время, когда он может вернуться домой, что неукоснительно им исполнялось и никаких протестов не вызывало.

Итак, пришел Абраша. Мы пообедали, бабушка загрохотала на кухоньке посудой, дед опять погрузился в книгу, а Абрам смотрел на него, буквально плавясь от счастья находиться вблизи такого могучего ума. Время от времени он взглядывал на меня, приглашая к своему счастью присоединиться. Вообще-то экзальтация и подхалимаж мне не свойственны, но в тот день я всерьез опасался, что дед после фиаско с французским общаться со мной будет неохотно и на вопрос отвечать не захочет. А потому счел за благо в ответ на Абрашины взгляды и подмигивания закатывать глаза в молитвенном экстазе и едва ли не воздевать руки горе.

Право, даже Папа во дни великих католических праздников не бывает окутан таким благоговейным обожанием, и в результате дед, чуть не задохнувшись в невидимых облаках фимиама, решил обратить на безмолвный народ свое пастырское благословение. На народ в лице Абраши, разумеется, ибо мое лицо и в сотой доле так не сияло.

– Ну, что, Абраша, как дела? – спросил дед строго, однако было ясно, что при любом мало-мальски удовлетворительном ответе благословение Абрама не минует.

Неопалимая купина и Божий глас не произвели когда-то на Моисея столь же сильного впечатления, как на Абрама этот простой вопрос, прямо скажем, несколько запоздавший, поскольку вдруг замеченный дедом бедный любящий родственник уже сидел на этом же самом месте битых два часа...

Радостный наш ребенок впал в оцепенение, а пока он справлялся с нахлынувшими чувствами, дед перевел взгляд на меня, и я прочел в его взгляде, что уж мнето, отпетому бездельнику, на вопрос: «Как дела?» и ответить нечего.

Но Абраша все же собрался с мыслями, его лицо, посмурневшее было в тяжких раздумьях, опять засияло, как летний пейзаж.

– Хорошо, Гриша! Таки очень хорошо! Рикочка сегодня разрешила мне не гулять, а вернуться домой в пять часов.

Дед был явно обескуражен такой жесткой связью между состоянием Абрашиных дел и амурными Рикочкиными планами, но быстро опомнился, мимолетно ему улыбнулся и вновь взглянул на меня, приглашая оценить, в какую бездну скудоумия я свалюсь, не желая изучать французский ни по новеллам Мериме, ни даже по пустейшим «Трем мушкетерам». Но я, тем не менее, приободрился, почувствовав, что все ритуальные танцы на тему «Ученье — свет» уже исполнены, что деду наставлять меня во французском не больно-то и хотелось, а стало быть, поход в библиотеку хлебозавода будет хорош и вопрос мой без ответа не останется.

И вот в четыре часа мы отправились этаким журавлиным клином: чуть впереди дед, небрежно взмахивающий своей тяжелой тростью, а почтительным эскортом — мы с Абрашей, решившим, благо, до пяти еще было время, тоже сходить в библиотеку. Видимо, памятны были ему взбучки за несвоевременные приходы домой. «Рикочка любит, чтобы к моему приходу квартира была прибрана», — доверительно сообщил он мне по дороге, гордясь домовитой «хлопотуньей».

В библиотеке дед заговорил о литературе со скучающей дамой-библиотекаршей, преданной своей поклонницей, а я рванул к полкам «Физкультура и спорт», где с наслаждением стал перелистывать книгу Василия Васильевича Смыслова «Избранные партии».

Играл я весьма средне, но магические фразы вроде «черные по дебюту получили стесненную позицию, а их слабый пункт на f6 доставит им еще немало хлопот» завораживали меня не хуже описаний рыцарских турниров. Кроме того, шел 57-й год, самый пик соперничества Ботвинника и Смыслова, вторая их схватка за звание чемпиона мира, и я, в «перпендикуляр» настроениям всех еврейских родственников, отчаянно болел именно за Смыслова. Во-первых, мне нравилось само сочетание: Василий Смыслов — василиск, смысл, осмысленность — совсем другое, нежели Ботвинник, ботва, ботвинья. Во-вторых, сам Смыслов — высоченный, с породистым гладким лицом гедониста. В-третьих, он был певцом, с небольшим, но очень приятного тембра лирическим баритоном. Насколько же все ярче доктора технических наук Ботвинника, какого-то машиноподобного, с упрямым лицом человека, ни на секунду не забывающего о намеченной цели.

К Смыслову и относился мучивший меня вопрос. Но вопрос откладывался на потом, когда Абраша уйдет, а я останусь с дедом наедине; пока же комментарии к шахматным позициям, которые представлялись мне застывшими картинками великих битв Цезаря или Ганнибала, притягивали высоким, как сам Смыслов, смыслом.

Абраша крейсировал между библиотечной стойкой, облокотясь на которую, дед ронял веские слова, жадно ловимые пожилой библиотекаршей, и полкой в глубине зала, привалившись к которой я пытался вникнуть в тайное предназначение очередной жертвы качества.

- Так ты играешь в шахматы? уважительно осведомлялся Абраша.
- Играю, почти отмахивался я.
- Надо же, какой умный растет мальчик! бормотал Абрам, отправляясь в обратный путь к библиотечной стойке. Вскоре появлялся опять:
 - Так ты-таки хорошо играешь в шахматы?
- Плохо, честно отвечал я, и Абрам, восхищенно вздыхая, отчаливал из пункта A в пункт B, гудя, как маленький трудолюбивый пароходик:

– Ведь совсем еще ребенок, а уже хорошо играет в шахматы!

Потом мы вышли из библиотеки, и на углу стремительно уходящей вверх улицы Нагорной дед вдруг сказал:

- Расходимся, друзья мои! Абраша, ты прямо, уже начало шестого. Марик, ты вниз, к трамвайной остановке и домой. Ну, а я вверх по Нагорной.
- Дедушка, попросил я, а можно мне с вами, вверх? До следующей остановки.
 - Нельзя, я хочу погулять один.
 - Но почему?! Я вам не помешаю, у меня только один вопрос...
- Без разговоров! почти рявкнул дед. Я пойду один, вверх. И ты пойдешь один вниз. Абраша, ступай домой, Рика заждалась!

Он резко повернулся, резко выбросил руку с тростью, оперся на нее и устремился прочь. И с каждым шагом рука выбрасывалась все энергичнее, трость взлетала все легче, а тело отталкивалось от нее все нетерпеливее.

Я, остолбенев, глядел ему вслед – и ничего не понимал. Почему мне нельзя дойти с ним до следующей остановки? Почему он удаляется от меня, да что там, почти убегает, так необратимо и быстро, словно бы убеждая каждым своим шагом, что это – шаг во мне неведомое, для меня чужое? И кому теперь я смогу задать этот проклятый вопрос: почему все родственники считают Смыслова антисемитом, почему, если нееврей хочет поставить мат еврею, то он непременно антисемит?

Позже я узнаю, что милейший Василий Васильевич никаким таким «анти» не был ни сном, ни духом, что настоящая дворянская порода враждебна только хамоватому быдлу... но это будет позже, а пока Абраша, подпрыгивающий от нетерпеливого ожидания встречи со своей Рикочкой, заметил мое отчаяние и пожелал утешить, продолжив беседу о шахматах.

- Ты слышал, Ботвинник со Смысловым опять играют? А Ботвинник-таки наш, аид... ты, конечно, болеешь за Ботвинника?
- Нет, помертвевшими губами вытолкнул я, не за Ботвинника. За Смыслова.

Но у Абраши уже не оставалось ни капли терпения. Он дрожал, как ребенок, который не может допроситься в туалет, он мечтал о своей чисто прибранной квартире, из которой уже выветрился тяжкий дух чужого, сильного самца, в которой Рикочка напоит его чаем с рассыпчатым шекер-чуреком и уложит спать... милая мамочка Рикочка... и поцелует перед сном, и он будет видеть радостные сны, этот лучезарный ребенок — а как же не быть им радостным, если жизнь так чудно хороша.

И он припустил со всех ног домой, счастливо приговаривая:

– Надо же, такой маленький мальчик, а уже болеет за Ботвинника!

А дед уходил, – и уходил, как я понимал, туда, где мне места никогда не будет.

Но обернитесь хотя бы! Просто в знак того, что и сейчас, уходя, вы все же оставляете меня в другой части вашей жизни; оставляете хотя бы прощальным взмахом руки!

Обернитесь, потому что, если вы не обернетесь, то я уже никогда не приберегу для вас ни одного вопроса, ни одной мечты. Ни о французском, который вы знаете совершенно, а я не буду знать совсем; ни о Римской опере, о которой вы так интересно рассказываете и где мне так хотелось побывать вместе с вами.

Обернитесь! Даже сейчас, вспоминая, я гляжу в вашу давно уже истлевшую спину – и прошу об этой малости...

Нет, не обернулся!

VIII

Трудно связно объяснить приятелю, одевающемуся у соседнего шкафчика, что Петька мне пересказал, как Арбен ему рассказал, что его пьяный сосед рассуждал, будто сука Гитлер думал, что Сталин — говнюк, но товарищ Сталин ему доказал, кто из них на самом деле говнюк. Трудно, потому что повествование пришлось на самый конец субботнего вечера в опустевшем детском саду, где в раздевалке мы возились с бесчисленными шнурками, застежками и пуговицами под нетерпеливые окрики нашей припозднившейся домработницы Зины и под злыми взглядами воспитательницы, уже час назад возмечтавшей уйти поскорее домой. Трудно, потому что приходилось шептать, а природа наградила меня на редкость несуразным шепотом, то не слышным в десяти сантиметрах, то вдруг слышным за десять метров, тем паче в гулкой раздевалке. Я знал, что если безапелляционно запретное слово «сука», пусть даже как характеристика ненавистного Гитлера, будет взрослыми услышано, то мне здорово влетит. Поэтому этот риф я миновал с особой осторожностью, но, миновав, воодушевился и вырванное из контекста «Сталин — говнюк» прозвучало вполне явственно.

- Что ты сказал?! дрожащим голосом вопросила воспитательница, не решаясь поверить ушам своим, но видя, как помертвела Зина.
- Сталин говнюк... честно воспроизвел я последние слова и, почуяв неладное, поспешно добавил: Так думал Гитлер.

Но никто уже не слушал. Зина, до того меня пальцем не тронувшая, подскочила и влепила такую затрещину, что про Гитлера, пьяного, Арбена и Петьку я забыл моментально.

- Ты что болтаешь?! вопила домработница, лихорадочно застегивая мое пальтишко и затягивая на шее шарф так туго, что способность болтать я потерял напрочь. Ты что, фашист, болтаешь?! В тюрьму захотел?
- Надо сказать родителям! верещала воспитательница. Надо принять меры!
 Я доложу директору!
- Не надо директору. охрипшим от вопля голосом сказала Зина. Вам же первой попадет. А я могила...

Женщины смотрели друг на друга и думали об одном.

«Вдруг донесет... а я промолчу... Спросят, почему молчала, может, ты с этим жиденком согласна? А если сообщить, спросят: что ж он, в первый раз такое сказал? А о чем родители говорят? В случае чего, скажу, последить хотела... за родителями...», – решила Зина.

«Эта не расскажет, она ж у них в доме живет! – соображала воспитательница. – Не поверят ей, что мальчишка случайно... Либо родители, либо в группе... В случае чего, скажу, что решила проконтролировать группу..».

Зина выволокла из садика нас с приятелем, жившим в соседнем доме на Тверской, и началось мое восшествие на казнь. Я беззвучно рыдал (реветь в голос не позволял шарф), Зина волокла меня слева, приятель, не сказавший ни слова в мою защиту, вышагивал справа, значительный, как конвоир, и мой беззвучный плач воспринимался как трусливое «Гитлер капут!» – традиционный вопль сдавшихся немцев.

Конечно же, я знал, что детей лупят. Но что когда-нибудь будут лупить меня, да еще так демонстративно, так церемониально! А это была именно церемониальная порка, и называлась она: «Молнии – да падут на лопоухую голову негодяя и да запечатают они его поганые уста!»

...Когда мы пришли домой, мать с работы еще не вернулась, а сестра подробно выслушивать Зину не стала. Она поняла, что недотепа-брат опять сотворил нечто ужасное, но собственное детство еще было памятно, и для настоящей строгости душа недостаточно окаменела. Поэтому получил я лишь пару обидных шлепков, грозное «дурак!», еще более грозное «вот, погоди, мама придет!», после чего она занялась своими делами.

До прихода матери я несколько раз порывался рассказать о том, как было дело, выстраивал, уже чуть успокоившись, правильную последовательность Петьки, Арбена, пьяного и Гитлера, но сестра углубилась в занятия и отмахивалась, а Зина шипела с присвистом, яростно-предупреждающе, как плотное облако пара, которое время от времени выпускали паровозы, сбрасывая лишнее давление в котлах. И ее «У, фаш-ш-шист!» сродни было грозному предупреждению огромной машины: «Не подходи, раздавлю-ю-ю!»

Зина была у нас в доме третьей домработницей. Первые две до приезда в Баку жили в русских деревнях Азербайджана, населенных молоканами и староверами, бежавшими от преследований на окраины Российской империи. Попадались последователи и других сект, так называемых «жидовствующих» — этнических русских, окающих по-вологодски или акающих по-рязански, но исповедывающих иудаизм в самом его дистиллированном виде.

Первая домработница, молоканочка Настенька, удивительно проворная была девчушка. Квартира под ее руками сверкала: еда, хоть и простая, всегда с пылу, с жару. Помню, одевала она меня так ловко, приговаривая всякую ласковую всячину, что совсем не хотелось вырастать и учиться одеваться самостоятельно. Невероятная чистюля, в баню она бегала не раз в неделю, как весь остальной бакинский люд, без различий национальности и веры, а через день. И меня иногда с собой прихватывала, мыла властно и быстро, вертя и отдраивая, как любимую кастрюлю, и не обращая внимания на рев по причине попавшей в глаза жгучей мыльной пены. Потом мылась сама, так же тщательно отдраивая все закоулки крепенького тела, а я сидел рядышком на горячей мраморной полке, подревывал, скорее притворно, и с любопытством разглядывал грудки, торчащие, как до отказа надутые воздушные шарики, попку и веселые кучеряшки, убегавшие вниз, чтобы спрятаться между толстенькими ножками. Она же, ополаскивая в пятый или десятый раз длинные, гораздо темнее кучеряшек, волосы, ловила мои взгляды и хитренько так подмигивала, мол, смотри, пока мал! Мол, вырастешь – ни за что не разрешу посмотреть... И от подмигивания этого мне, сопляку-четырехлетке, ей-же-ей, становилось жарче, чем от горячей мраморной полки и душных волн тепла, гуляющих по огромному, плохо освещенному банному залу.

Но подрасти при ней я не успел. Вскоре она получила письмо из дому, покручинилась немножко и сообщила: «Возвращаюсь я, сосватали меня родители». Мигом собрала вещи, чмокнула меня в макушку – и исчезла навсегда...

Вторая тоже была Настей, но вот назвать ее Настенькой язык бы не повернулся. Хмурая, некрасивая дева из «жидовствующих»; понятно, что устроиться домработницей она хотела только в еврейскую семью. Но с нами ей не повезло — ни малейших признаков соблюдения запрещений и повелений иудаизма у нас в доме не наблюдалось. От этого природная хмурость быстро превратилась в озлобление праведника, вынужденного жить в окружении всех мыслимых и немыслимых пороков. Вулкан ее ненависти загрохотал очень скоро, потому что отец, бывший тогда начальником геологоразведочного треста и всю рабочую неделю живший довольно далеко от Баку, ввалился субботним вечером, в первые сутки Песах, Пасхи, когда в доме не должно быть ни крошки дрожжевого теста, и радостно возгласил с порога, что привез купленный по дороге свежайший чурек. Настя сочла это провокацией, призвала на нас все те кары, кои Всевышний обрушил когда-то на филистимлян, моавитян и прочую языческую нечисть, и рассчиталась немедленно. Никто ей вслед не горевал...

Зина же была откуда-то из Ставрополья и приехала в Баку на поиски жениха. Замысел был вполне логичен: страна воевала на бакинском горючем, и всем, кто работал в нефтедобыче или переработке, бронь давали безоговорочно. А летом-осенью 44-го, когда армия пополнилась партизанами и призывниками с ранее оккупированных территорий, стали демобилизовывать всех, имеющих к нефти хоть какое-то касательство – так в сентябре оказался дома мой отец.

Поэтому найти после войны жениха в Баку было куда реальнее, чем в России. Задача решалась Зиной при каждом ее выходе на улицу. Когда мне приходилось пропускать садик, и мы шли с ней гулять на Приморский бульвар, она ощупывала взглядом всех молодых мужчин и по ей только известным критериям либо моментально выбраковывала, либо мысленно ставила «галочку». Если, откликаясь на ее взгляд, к ней подваливали «не те», она принималась притворно хлопотать вокруг меня, то поправляя одежду, то нежно осведомляясь, не замерз ли или не хочу ли часом пить? «Недостойные» понимали, что девушка — вовсе «не такая», и после двух-трех оставшихся без ответа фраз уходили ни с чем. Но зато, если подходили те, что «с галочкой», я немедленно отсылался побегать, и попытки не подчиниться пресекались ором и скрежетом зубовным.

Однако года полтора «не клевало». А потом к ней посватался Борис Гасанов, сын жившей под нами соседки, Надежды Тимофеевны, которую все окрестные женщины с испугом и ненавистью называли меж собой не иначе как Гасанихой.

- ...Услышав исполненный драматизма Зинин рассказ, мать побелела и взялась за меня основательно. Так основательно, что сестра не выдержала и сбежала на время экзекуции из дому. Никаких моих заранее заготовленных рассказов про Петьку и прочих мать не слушала.
 - Пе-пе-петька сказал... захлебывался я.
- Ах, Петька! кричала мать и бац! припечатывала свой возглас очередным шлепком или тумаком. Ты повторяешь слова какого-то подлеца Петьки!! бац! бац! Ты не повторяешь слова своих родителей, которые любят товарища Сталина и восхищаются им! бац! Зина, ты слышала когда-нибудь, чтобы о товарище Сталине в нашей семье говорили без восхищения и любви?! бац!
- Н-нет... выдавила Зина и в общем не врала, ибо я не помню, чтобы в нашей семье вообще до того говорили о вожде, с восхищением ли, без оного ли, хотя небольшой гипсовый бюст красовался на книжном шкафчике рядом со старинной шкатулкой китайской ручной работы.
- Значит, эту антисоветчину он слышал в садике?! бац! Зина, почему ты не пошла немедленно к директору?
 - Та, понимая, что ее загоняют в ловушку, молчала.
- Я сама в понедельник пойду к директору!! совсем уже разошлась мать. Нет, лучше завтра, в воскресенье, мы с мужем пойдем в органы! бац! Мы доложим! И если они решат отправить этого идиота бац! в колонию для малолетних, я соглашусь!! бац! бац! Лишь бы они посадили всех, кто промолчал! Всех, кто не сообщил! Всех, кто не любит товарища Сталина!!
- Не надо в органы! заверещала Зина. Не надо Марика в колонию! Он же нечаянно...
- Нечаянно! вопил я, надсаживая глотку.— Я люблю товарища Сталина! Очень-очень люблю!!!
- Я действительно любил товарища Сталина, о котором выкрикивал стихи на каждом праздничном утреннике, но сейчас рвал связки потому, что шестым... шестнадцатым чувством вдруг осознал: мать все проделывает не из любви к вождю, даже не в назидание мне или Зине, но для какого-то невидимого зрителя, какого-то незримо присутствующего зрителя, чье грозное «Не верю!» могло бы обернуться для нас на редкость плохо.

Надежда Тимофеевна, Гасаниха, почти не скрывала, что она – в доску своя в районном отделении МГБ. Стучать она начала до войны, заложила дворничиху Марусю, жившую на первом этаже нашего трехэтажного дома, до революции принадлежавшего купцу-персу. При нем на первом этаже были каморки складов, совершенно не приспособленные для жилья, но не было в стране таких нор, в которые советская власть постеснялась бы затолкать людей.

Зимой свет и воздух проникали в эти норы через крохотные оконца, выходившие на полутемный, заасфальтированный, без клочка зелени двор, туда же выходили и двери, которые измученные жарой жильцы летом держали открытыми днем и ночью – и вонь от туалетов, мусорных ящиков и нагретого асфальта пропитывала убогую мебель и латаное постельное белье.

Маруся была совсем одинока, занимала самую темную и вонючую комнатенку, болела, как и многие соседи, туберкулезом и целыми днями махала быстро стирающимися метлами на окрестных улицах и во дворах. Как-то раз в сердцах пожаловалась Гасанихе: «Метлы горят, а управдом-гнида новые не выписывает. Что ж это за власть такая жадная!» И все. И сгинула в лагерях. Не оппозиционер, не вредитель, не агент разведок — просто харкающая кровью дворничиха. Ни уму не постижимо, ни безумием не объяснимо.

А когда вдосталь напелись «Если завтра война...» и настало это накликанное «завтра», то к обычному перечню врагов народа добавились еще и паникеры. Тут Гасаниха развернулась: рыскала по Крепости, стояла в очередях, знакомилась с женщинами, без промаха выцеливая самых осунувшихся, с потухшими глазами, и заговаривала о том, что опять-де наши отступили, и карточную норму опять урезали... Провокатором она была от дьявола, удачливым была провокатором, хотя и загуляла вскоре молва, что стучит сука, стучит с извращенной фантазией, стучит вдохновенно, чтобы отмазать от военкомата и милиции своего приблатненного бугая сына. Муж, неведомый мне Гасанов, погиб на фронте, она нацепила черный траурный платок — и теперь на ее речи откликались чаще. Скольких она так погубила, не знаю. Но сына отмазала.

После войны из соседнего дома выселили две греческие семьи — Сталину в ту пору чем-то не угодила Греция; потом в немилость попал Тито, и с соседней улицы выслали красивую сербку, и Гасаниха громко жалела греков, сербов, заодно чеченцев и ингушей, но никто уже с ней в эти разговоры не вступал, отмалчивались. Дела стукаческие пошли хуже, сына со всех работ выгоняли, он сидел дома, пил и пел блатные песни, акком-панируя себе на плохонькой гитаре двумя-тремя сбивающимися аккордами.

Вот такой женишок появился у Зины весной 52-го, после двух бесплодных лет. Как водится, пообещал бросить пить, начать работать, не покладая... но денег на принятые у азербайджанцев подарки суженой — как минимум, на пару колец, зимнее и демисезонное пальто — у него не было. Гасаниха, хоть и бывшая некогда замужем за азербайджанцем, «чучмеков этих» презирала с истинно лакейским высокомерием, а потому идею таких подарков отмела напрочь. Однако ж при этом приданое, «какое у нас, русских, положено», с Зины истребовала.

Домработница пребывала в смятении: лучшего жениха на горизонте видно не было, а мать моя намеки на то, чтобы одолжить, а по сути подарить деньги на приданое, вроде бы и не понимала.

Хотя в повседневности мать любила поныть и пожалеть себя, но в минуты опасности не раскисала, мыслила с точностью хорошего начальника штаба, а потом, не считаясь с потерями, с упорством полководца воплощала замыслы и планы. Отец тоже оказался на высоте. Он приехал со своих буровых поздно вечером, выслушал мать и, посмотрев на меня строго, но с плохо скрытой жалостью, сказал на максимальном форте своего хорошо поставленного металлического тенора:

– Я, как коммунист, должен еще трижды подумать, имею ли право отдавать его в лучшую школу Баку. Пусть сидит дома, сторожит квартиру. Все равно с такими куриными мозгами больше, чем сторожем, ему не быть.

Он говорил, особенно четко выговаривая слова, направляя звук в пол, и я по наитию, ничего тогда о Гасанихе не зная, вдруг представил, что она, забравшись на стол, а потом на табуретку, держится, чтобы не упасть, за абажур, задирает голову,

внимательно слушает отца и приговаривает: «Конечно, нельзя его в школу! Сразу в колонию!»

Ночью родители долго шептались и через несколько дней объявили Зине, что дают ей деньги на приданое. Вскоре сыграли свадьбу, где мать была главным действующим лицом со стороны невесты.

Вплоть до сентября я трясся при мысли о том, что во всех школах узнают о происшествии, и меня не возьмут ни в одну: ни в 6-ю, где учились сыновья всего республиканского и городского начальства (потом стали учиться и дочери, когда через два или три года отменили раздельное обучение), ни в самую захудалую, на окраине, в Черном городе или на Баилове. И вплоть до сентября я каждый день протирал бюст вождя чуть увлажненной тряпкой, и руки мои дрожали от невысказанной мольбы о помиловании.

А еще, чтоб делом доказать любовь, прочитал сохраненные отцом газеты, вышедшие в декабре 49-го, к сталинскому юбилею, да не просто прочитал, а изо всех сил пытался вникнуть...

Но все обошлось. В 6-ю школу меня приняли. На самом первом уроке Валентина Даниловна подняла руку по направлению к висящему над доской портрету и дрогнувшим от любви голосом спросила:

- Ученики! Знаете ли вы, кто это?!
- Сталин!! закричал класс, а я громче всех. А потом, когда остальные замолчали, добавил:
 - Иосиф Виссарионович! Генералиссимус!

Очень мне хотелось рассказать о многих его великих свершениях, особенно о десяти сталинских ударах — от битвы под Москвой до взятия Берлина, но Валентина Даниловна меня остановила:

– Ученик Берколайко! Отвечать можно только тогда, когда я задаю вопрос!

И прочитала несколько стихотворений Лебедева-Кумача, Джамбула, еще когото и ни разу не произнесла ни одного слова из тех, что распирали меня: «индустриализация», «стратегический гений», «проблемы языкознания» – и с той самой минуты я в школе разочаровался навсегда.

Борис Зину часто бил, деньги пропивал, и она приходила просить их у матери, неизменно при этом приговаривая:

– Надежда Тимофеевна опять спрашивала, за что тогда «верхние» мальчишку наказывали? С какого перепугу он вопил, что любит товарища Сталина? Но я ничего не сказала...

Мать ей деньги давала, опять же неизменно добавляя, чтоб помалкивала, потому как и сама в случае чего сядет. Потом Зина устроилась на грузовое судно, мотающееся по Каспийскому морю, а вскоре Гасаниха напела сыну, что невестку видели выходящей под утро из каюты старпома. Борис, хмельной уже с утра, понесся в порт разбираться с соперником, но там его толково отметелили, и он вернулся домой убивать жену, которой Гасаниха не давала убежать, несмотря на все ее мольбы.

В тот день я болел и в школу не пошел. Хорошо слышал, как Зина заходилась в рыданиях, кричала, что ни в чем не виновата, что подрабатывала на судне еще и уборщицей и прибирала в каюте старпома, пока тот был на предутренней вахте. Гасаниха молчала, а вернувшийся Борис на все оправдания ревел глухо: «С-у-у-ка!» – и бил...

Как ей удалось вырваться из квартиры, не представляю. Видел только, приникнув к окну веранды, как на каменной лестнице со второго этажа на первый Борис одной рукой удерживал рвущуюся вниз Зину, а на нем висела Гасаниха, пытаясь перехватить другую его руку с ножом. Он все же полоснул жену по спине, но не достал, располосовал только платье... от этого движения и вылаканной водки пошатнулся – и Зине удалось убежать.

Больше я ее никогда не видел, мать потом рассказывала, что сумела в последний раз передать немного денег, и та уехала в Красноводск.

Долго еще я кричал по ночам, когда видел во сне занесенный над Зиной нож. Кричал – и плакал от страха и жалости. Но наяву ее не жалел и долго еще помнил, как пытался рассказать... объяснить... и это «Фаш-ш-ш-шист!» со злобно свистящим «ш».

Через полгода после всего этого Гасаниха слегла с раком. Орала от боли, забываясь только водкой, которую подносил сердобольный сынок. Но, видно, нечасто маменьку баловал, лил водку в основном в себя и заглушал ее стоны все теми же блатными песнями под все те же два-три аккорда на плохонькой гитаре.

На похороны Гасанихи никто из соседей не пришел. Гроб из узкой двери выволокли Борисовы собутыльники, часа через два вернулись и устроили поминки – попойку с матом и мордобоем.

Но все это было уже в году 57-м, когда мать о моем крамольном высказывании в адрес вождя рассказывала с улыбкой. А до того была еще зима 53-го года.

IX

Учиться в первом классе было скучно. Полгода мы заполняли страницы палочками, овальчиками, хвостиками будущих «б» и обрубками будущих «у» и «д». Понукаемый бесчисленными сравнениями с сестрой (она и сама впервые услышала, какой, оказывается, была умницей и искусницей), я добивался в чистописании — так назывался этот онанизм — заметных успехов. Приобрел в итоге разборчивый ровный почерк при безобразно низкой скорости письма и никогда не успевал записывать не только лекции, но даже и тезисы интересующих меня докладов на конференциях и семинарах.

Угнетала сырая и ветреная осень-зима; вставать затемно было распределенным на много дней исполнением смертного приговора.

Сестра доводила меня до переулка, в котором стояла наша 6-я школа, а потом со всех ног неслась вверх по Коммунистической, в свою женскую... мимо музея истории большевистских организаций Азербайджана... мимо филармонии с замечательным залом, в котором нефтяные магнаты начала века давали по-восточному пышные балы, а чудом уцелевшая интеллигенция середины несчастного столетия аплодировала Рихтеру, Гилельсу, Ойстраху. И были эти аплодисменты раскованными и благодарными, в отличие от дежурно-фанатичных оваций в честь живого бога, чья многометровая статуя — здесь же, через дорогу, совсем рядом — вознеслась выше купола храма музыки, выше минаретов и колоколен церквей.

Но ближе к Новому году сестра взбунтовалась. Она уверенно претендовала на золотую медаль, отличие по тем временам редкое, а из-за моей копошливости часто опаздывала на первый урок, что, опять же по тем временам, считалось вопиющим. И родители наняли пожилую неработающую женщину, Бусю, которая отводила меня в школу, днем приводила домой, кормила и оставляла одного до прихода сестры или матери.

Своих детей у Буси не было, и она жалела меня — слезливо, но как бы из других пластов бытия, как я потом жалел от роду несчастного Оливера Твиста. Она приходила по утрам, к той минуте, когда я уже переставал заталкивать в перетянутую отвращением гортань комковатую манную кашу и начинал собираться «на выход». Поскольку помогать мне одеваться запрещалось категорически, она присаживалась у стола с чашкой чая и здоровенным куском хлеба под лоснящимся слоем сливочного масла (отец получал его в спецраспределителе «Азнефти»), звучно, со вкусом, жевала и громко, со вкусом причитала по любому поводу.

...Глядя, как я пристегиваю к резинкам, свисающим со специального детского пояса, сортирно-коричневые, ребристые чулки:

- Ой, чулочки какие толстые! Вспотеет мальчик и ножки в кровь разотрет!
- ...Глядя, как неловкими пальцами застегиваю ученическую тужурку:
- Ой, китель какой тяжелый! Как же бедный мальчик будет его таскать весь день?!

...Потом по поводу чересчур длиннополого пальто. Потом по поводу ветраснега-дождя... И вот, наконец, жалеющий сам себя с минуты пробуждения, а ею – так вообще оплаканный, я вхожу в класс, где неумолимо зоркая Валентина Даниловна усматривает на пальцах едва заметные чернильные пятна и отсылает отмывать их в едко воняющий хлоркой туалет. А там весело. Там особенно испорченные и отчаянные курят, смачно сплевывая густую от никотина слюну. Там,чтобы исчезли те самые пятна, трут руки о стены, которые белились минимум раз в месяц, но известь быстро исчезала под ученическими ладонями. Там обсуждаются новости и сплетни.

Там, вскоре после январских каникул, я услышал, что сучары-евреи-врачиотравители изничтожают русских людей.

Сообщил эту новость Евдокимов, переросток из третьего класса. Было ему лет одиннадцать, его то переводили «условно» в следующий класс, то оставляли на второй год, с нетерпением ожидая, когда же ему исполнится шестнадцать, чтобы сплавить в «ремеслуху». Когда мы перешли в пятый класс, он ненадолго оказался с нами. Уже вовсю курил анашу, и с лица его не сходила плотоядная ухмылка садиста. Терроризировал нас страшно, особенно выделял меня, и довел как-то раз до такого исступления, что я с размаху всадил в его щеку (а метил в глаз) ручку с металлическим перышком. Мне влепили тройку за поведение, его из школы наконец-то выгнали, но много раз впоследствии дубасили мы друг друга в «крепостных» подворотнях. Дубасил в основном он, но до сих пор горжусь, что пощады не просил.

Сообщив тогда в туалете о врачах-отравителях, «убийцах в белых халатах», Евдокимов нацелил на меня мясистый, грязный палец и угрожающе спросил:

- Слышь, ты! У тебя родители тоже доктора-профессора?
- Нет, с готовностью ответил я. Нефтяники.

И мысленно порадовался тому, что матери не удалось стать врачом, о чем она жалела всю жизнь.

– Нефтяники... – процедил Евдокимов и влепил мне в качестве аванса здоровенный щелбан. – Знаем мы таких нефтяников!

Но тут же сам получил хороший пинок от Чингиза, знаменитого школьного футболиста; наверное, стал бы он знаменит не только в школе, если б не был таким заядлым курильщиком.

- Ты чего? заныл Евдокимов. Чего ты за *этих* заступаешься? Вас тоже травить будут.
- Гетверан! (Жопошник!) выругался Чингиз. *Нас* не будут. А ты, пацан (это уже мне), иди в класс. И если что училке своей не жалуйся. Мне скажи.

Не знаю, что подразумевалось именно под «ленинской» дружбой народов, но, по крайней мере, среди коренных бакинцев было нормой дружелюбие к людям иных национальностей. Правда, неприязнь к русским («Колонизаторы!») все чаще начинали демонстрировать молодые интеллектуалы азербайджанцы, обучавшиеся в аспирантуре в Москве и Ленинграде, словно набирались там, кроме знаний, еще и вони от цэковских и гэбистских интриг.

В Нагорном Карабахе почти каждый год были столкновения, иногда кровавые, так что, когда Горбачев в конце восьмидесятых скулил, что в ЦК ничего не знали о тлеющем карабахском конфликте и об армянских притязаниях на эту землю, я понял, что стране, лидер которой либо врет беспардонно, либо витает в облаках, такой стране недолго осталось.

Но вот вирус московско-питерской юдофобии по Баку не гулял никогда, тем более, что в Азербайджане очень издавна жили горские евреи, которых государство

именовало татами и евреями не считало. Внешне они почти неотличимы от азербайджанцев, и когда в Москве или Киеве особо носатых или картавых уже выкидывали из трамваев, по Баку прошелестел слух, что горские решили взять «европейских» под свою защиту, хотя в другие времена общины почти не соприкасались и даже на еврейском кладбище могилы никогда не перемешивались. Этот слух заставил притихнуть самое отребье, и предстоящей высылке евреев в Биробиджан вслух никто не радовался. Правда, Гасаниха под неуклюжими предлогами несколько раз к нам поднималась и зыркала вокруг оценивающим взглядом. Наверное, в райотделе МГБ ей пообещали нашу квартиру.

Зато управдом, встретив мать на улице, задал пару пустячных вопросов, а потом, глядя куда-то в сторону, пробормотал:

- Списки сверили...
- Какие списки? не поняла мать.
- Плохие списки... все так же невнятно бормотал он. Некоторых жильцов списки... Не всех жильцов, а некоторых... И в Баладжаре эшелоны начали собирать.

Дед, когда мать передала ему этот разговор, внутренне уже был ко всему готов. Он каждое утро ходил в баню и надевал чистое, видимо, всерьез надеясь, что его пристрелят за попытку оказать сопротивление. К Курносенькой ходить перестал, чтобы не привлекать к ней и к детям теперь уже явно лишнее внимание. Так что слова управдома не обсуждал, сказал только матери:

– Попроси Зиновея (так звал он моего отца), пусть якобы заболеет и перестанет мотаться в свой дурацкий трест. Попадете в разные эшелоны, потом можете никогда и не встретиться.

Но отец наотрез отказался манкировать любимой работой. К счастью, с ним почти тайно встретился Владимир Андреевич Сапунов, начальник райотдела МГБ в Локбатане, где раньше базировался отцовский трест, и пообещал, что предупредит накануне ночи «Ч», чтобы отец успел домчаться до Баку... Сапунов вообще был для отца почти ангелом-хранителем. На пятидесятилетие привез ему из Локбатана своеобразный подарок — пачку поступивших на него доносов. И анонимных, и от некоторых работников треста, почитавших себя отцом обиженными, и просто от стукачей по призванию. Доносам этим Владимир Андреевич не дал когда-то ходу, а пачка была довольно толстая.

Я, конечно, тоже чувствовал, что надвигается что-то неладное. Никто не хотел мне объяснить, зачем стоят наготове четыре набитых до отказа чемодана, зачем на всю мою одежду мать нашила бирочки с именем и фамилией. Иногда ловил какие-то обрывки странных разговоров, например, мать говорила забежавшей на минуту поплакаться тете Шеве, своей сестре, что у Багирова вроде жена-еврейка, и он хлопочет, чтобы бакинских евреев разрешили выселить не на Дальний Восток, а в какой-нибудь отдаленный район Азербайджана. Меня подслушанное воодушевило чрезвычайно: а вдруг мы попадем в Нахчыван, горный район у самой границы, и я помогу пограничникам поймать шпиона, а за это мне подарят овчарку и разрешат носить пистолет.

У забежавшей поплакаться тети Шевы была своя беда, она же и радость: второй ее муж, Коля Рябинкин. Сын известного в Баку столяра-краснодеревщика воспитывался в стойкой неприязни к «коммунякам» и евреям. Прошел войну, служил потом в нашей комендатуре в Вене... и вдруг особисты спохватились, что он слишком долго когда-то выходил из окружения. И машина закрутилась. На допросе дядя Коля со всей силой своего буйного характера послал смершевцев на х.., угодил в лагерь, там тоже не утихомирился, за что бывал неоднократно бит шомполами, однако потом все же был отпущен на временное поселение в Баку. Означало это, что он был обязан раз в полгода являться в райотдел МГБ за разрешением на дальнейшее проживание в своем же родном доме. Но поскольку на беседах тих и смирен не был, то каждый раз полу-

чал предписание покинуть Баку за 48 часов. Старик-краснодеревщик вздыхал и, проклиная буйный характер сына, плелся в райотдел с подношениями и предложением смастерить еще что-нибудь краснодеревное. На том и наступал временный штиль.

Но когда Коля привел в родительский дом мою тетку, отец его получил удар воистину смертельный. Еврейка, вдова погибшего на войне офицера, с дочерью на руках! Но сын был непреклонен, любил Шеву с какой-то яростной нежностью, с отелловской ревностью и рыцарской решимостью убить всякого, кто задержит на жене взгляд, и любого, на кого слишком, по его мнению, долго посмотрят ее полыхающие опасным огнем глаза.

Так вот, услышав про грядущее переселение, дядя Коля заявил, что поедет с женой – и баста! Желательно на Южный полюс, где из самцов – одни пингвины, но можно и к черту на рога, в частности, на Дальний Восток. А Шева, хоть и радовалась такой беззаветной преданности, жаловалась, что Коля наверняка попытается придушить какого-нибудь конвоира и получит пулю еще до Баладжара, ближайшей к Баку станции.

Среди всего этого ожидания беды безмятежной оставалась только Буся, а радостно-деятельным – я.

Бусин покойный муж, неплохой меховщик, обращался, видимо, с женой, как с драгоценной шкуркой, пушил ласковыми дуновениями, гладил исключительно по шерстке, и она, как избалованная кошечка, приобрела счастливую уверенность в непременном наличии молочка в блюдечке и кусочков мяса в мисочке. А потому ни о каком выселении не думала, от мрачных прогнозов отмахивалась, зато с готовностью лила легкие, сладкие слезы над толстыми «переживательными» романами и моими чересчур грубыми чулочками.

Ну а я в преддверии жития на границе составил план самоподготовки к выслеживанию и поимке врагов: необходимо было научиться бесшумно бегать по пересеченной местности, ползать по-пластунски и мощно бить под дых. К концу февраля уже умел носиться по комнате, как по дремучему лесу, не натыкаясь на прихотливо раскиданные деревья-стулья и пни-табуретки. Правда, шум при этом производил изрядный.

А потом взорвалась весть о болезни Сталина. Мать объяснила мне, что такое артериальное давление, инсульт и дыхание Чейна-Стокса. Все это я пересказывал в классе, меня слушали, раскрыв рты, но итогом наших обсуждений всегда было уверенное: «Поправится!» Конечно, умереть может любой — это мы, дети 45-го года, прекрасно понимали. Конечно, и Сталин когда-нибудь умрет, но это будет потом, совсем-совсем потом, когда он улыбнется доброй, усталой улыбкой и скажет Земному Шару: «Я дал вам все то, о чем вы мечтали. Я привел вас вперед, к победе коммунизма (лозунгами «Вперед, к победе коммунизма!» были увешаны все присутственные места). Теперь вы справитесь без меня. А на тебя, Марик, я не сержусь, я знаю, что это не ты назвал меня говнюком, знаю и про Петьку, и про Арбена, и про пьяного!»

А я заплачу от счастья и скажу ему: «Спите спокойно, Иосиф Виссарионович!», и он уснет вечным сном, именно уснет навечно, а не просто как-то там умрет... но тогда причем тут инсульт и дыхание Чейна-Стокса?

Однако страшная мысль о возможной смерти вождя пронзила меня 3 марта, когда, выходя из туалета, мой одноклассник Кямал вдруг спросил: «А ты как думаешь, Он – срет?» Чудовищно жестокий был вопрос! Неужели же Он, Сталин, Генералиссимус – как Кямал... как я сам... приспускает штаны, трусы, присаживается на корточки или на горшок (о существовании унитазов я тогда не подозревал), тужится... и ...?

«Нет!» – твердо ответил я Кямалу, но сомнения остались.

Так срет он, как все мы, или нет?! Если нет, то будет и вечный сон, и слова прощения для меня, и все прочее – сверхчеловеческое и невыносимо прекрасное. Если же да, то...

И когда диктор замогильным голосом сообщил о смерти, я не загоревал и не испугался, а неожиданно зряче проинтуичил: ara! Значит, да! Значит, как все мы! Значит, уж как-нибудь и без него... перетопчемся, пережуем, переживем...

А вот кто испугался, так это Буся. Страшная бренность всего сущего, скрытая от кошечки даже после смерти мужа, теперь открывалась ей на каждом шагу... а еще по несчастному совпадению, как совсем уж горестное лыко в ту же траурную строку, выяснилось вдруг, что оставшиеся после мужа несколько недешевых шкурок внезапно тронула порча.

И она кинулась на ежедневные траурные митинги, волоча за собой меня и совсем забывая о грубо трущих чулочках. И выла утробно вместе с несметной толпой, сбившейся под злым ветром с Каспия в черную недвижную массу на площади перед Домом правительства, когда к микрофону на Мавзолее подошел Молотов, сказал: «Дорогие товарищи!..» и заплакал...

И Валентина Даниловна закаменела в непритворном горе. Во все дни траура, все четыре урока она заставляла нас замирать на неудобных скамейках парт, а сама, не переминаясь и не пошатываясь, стояла у доски, под Его портретом, окаймленным черной лентой.

Иногда по классу проходило судорожное шевеление от непроизвольно дергающихся застывших мышц, и тогда она молча поднимала правую руку к портрету и становилась похожа на неумолимую «Родину-мать» с известного плаката, которая звала и звала всех пока еще живых вымостить и своими костями все ту же бесконечную дорогу из Ниоткуда в Никуда.

X

Историки пишут, что первый смертельный удар сталинской Империи нанес Хрущев своим докладом о культе личности на XX съезде. Но мне кажется, что самыесамые первые удары она получила в марте-июне 53-го года. Когда вдруг поняли, что придавивший всех миллионнотонный сапог был надет на всего лишь смертную и подвластную тлению ногу. Когда в начале лета был неприлично легко свален всесильный Лаврентий, объявленный всего лишь давним агентом иностранных разведок. Когда среди привычных сообщений о рекордных плавках и неслыханных темпах посевной невзначай промелькнуло, что «дело врачей» было, оказывается, затеяно каким-то неизвестным Рюминым – и сами собой рассосались эшелоны, канули списки, и распаковались заготовленные к ночи «Ч» тюки и чемоданы.

И тогда мелькнуло в головах, что не всемогущая и безошибочная Машина затягивает живую нашу плоть между своими безостановочно вертящимися валами, нет, это нечто гигантское, но слепое, прет напролом, прет не по картам, не по звездам и даже не по чутью, а так... наугад...

И само собой вспоминалось, что и динозавров, и саблезубых тигров, и мамонтов пережили, перешуршали верткие неприметные тараканы... так, может, пусть они там, наверху, дергают свои рычаги, командуют «Полный вперед!», а мы снизу радостно рявкнем им в ответ: «Есть полный вперед!», а сами шныр-шныр... шур-шур... да за крошечками, да на тепло, да по запаху....

Может, и не мелькало в головах ничего подобного, но никогда так дружно не собиралась на Искровской вся родня, как на седере 53-го года.

Единственный на моей памяти раз – вся родня, вся без исключения. Единственный, потому что летом этого же года сестра уехала учиться в Ленинград, потому что в следующие годы кто-нибудь да не приходил. То болели, то были в отъезде, а то и уходили туда, где нет ни седеров, ни буден.

Ах, как веселились тогда? Как хохотали – освобожденно и молодо! Как любовно смотрели друг на друга!

Как красив был дядя Миня, так особенно красив, как голливудские звезды в свалившееся с неба мгновение хеппи-энда. Какой теплотой окутывала мир тетя Этя, просто окутывала, ничего от него взамен не ожидая и не требуя. Как шумно наслаждались их сыновья, улыбчивые красавцы Борис и Георгий, приготовленной бабушкой фаршированной щукой. Как обаятельно улыбался мамин младший брат. Как жадно пил он вино, забыв о насмерть простуженных в боях под Сталинградом почках.

И даже мой отец присутствовал не только телесно; он и мысленно, и душой был здесь, на Искровской, а не на своих буровых, где скважина за скважиной проходились впустую, без нефти и без явных признаков ее.

И даже мать, не признававшая застолий, где не она бы управляла беседой, временами доброжелательно молчала, позволяя вести беседу другим.

Абраша, конечно же, беседу не вел, но зато глаза его горели праздничным салютом и куражливой радостью местечковых танцев.

А как слушали сестру, когда она пела хватающим за сердце теплым голосом, как горделиво перешептывались: «Наточка идет на золотую медаль... Как Гриша когда-то... наверное, в него... так часто бывает с первыми внучками!»

Как подшучивали над Колей Рябинкиным, что собрался, мол, бедолага ехать с женой в самое что ни на есть еврейское осиное гнездо. А он кричал в ответ, что разве можно отпускать Шевку хоть на день — упорхнет! И Шева, притворно сердясь, светилась от счастья, что ее так любят и так ревнуют.

И бросил тогда дядя Коля фразу.

Программную, как сейчас бы сказали, фразу.

– Вот что, дорогие мои евреи! – сказал он. – Можно, конечно, вас любить или не любить, это личное дело каждого. Но пытаться совсем уж сильно вас давить – опасно. Кто пытался, тот плохо кончал.

Дядя мой замечательный и шумный, спасибо вам! Только нет особого толку в том, что они плохо кончали. Скверно то, что мы позволяли им начинать.

А потому пора, наконец, прекратить привычные причитания: ах, этот — антисемит, а тот — так вообще юдофоб. Да пусть будут кем угодно! Пусть считают нас какими угодно — жестокими, зловещими, жадными или пархатыми. Главное, чтобы знали: никогда больше мы не будем беспомощными жертвами.

Вот какой толчок дал мне тот седер на Искровской, седер 53-го года. Вот почему до конца дней своих буду я благодарен тому бесшабашному веселью.

И дед тоже веселился. Веселился наш патриарх, гордясь веселящейся родней.

Только время от времени поворачивал он голову к закрытым ставнями окнам – и тогда улыбка вдруг исчезала. Словно видел на темной Искровской Курносенькую – и просил прощения за то, что у нее не бывает таких веселых праздников.

И словно просил заранее прощения за будущие двенадцать дней своего угасания, когда под этими же окнами, на выжигаемой солнцем Искровской, она будет плакать безостановочно и безутешно. И за невыносимо жаркий день своих похорон, когда ей не разрешат подойти к гробу, чтобы рядом с его задумчивым – даже во смерти – лицом, под древнюю еврейскую молитву склониться в русском прощальном, поясном поклоне...

Я не ручаюсь за точность описаний событий, фактов, улиц, домов, игры цвета и смесей звуков и запахов; не ручаюсь за точность дат.

Ручаюсь лишь за то, что здесь нет ни одного выдуманного персонажа.

Я стал часто видеть их во сне, а просыпаясь, вспоминаю, что плакал, наблюдая за ними, разговаривая с ними, любя их. Не знаю, то ли это слезы горечи оттого, что они удаляются от меня все дальше, то ли, наоборот, слезы примирения с тем, что расстояние между нами сокращается с каждым днем, каждой ночью и каждым сном.

ЛАДА СМИРНОВА

Мой человек

Пьет кофе по утрам мой человек И делает пробежки по району, Как будто не звучал упреком смех, Скрывавший боль мою и сердца стоны.

Как будто меня не было и нет, Как будто все пригрезилось однажды... А может, вовсе не было бесед О самом сокровенном, самом важном?

И ты, увы, всего лишь эпизод Из выдуманной мною летней сказки? А может, ловко взявший в оборот, Лишь ловелас, алкающий развязки?..

Сошедший ли с ума, с картин Дали: Разорван на фрагменты, элементы... Нет, ничего не ждет нас впереди, И ни к чему, пожалуй, сантименты.

Пей кофе по утрам, мой человек, И бегай по району без оглядки. Не стану я причиною помех, Пути твои отныне будут гладки.

А я пью чай зеленый по утрам И вновь брожу по старенькой аллее. Не верю вещим снам, любви словам, О счастье больше говорить не смею...

И, кажется, тихонечко старею....

Верится

Мое сердце осталось на лестнице, Где прощались осенней порой... Ах, как хочется верить – и верится, Что найду его этой зимой.

Где река поет долгие песни, Где шуршит под ногами листва – Оно там, где с тобой были вместе... Но мешают пустые слова.

Не то

В автобусе, на улицах, В прокуренном авто Душа устала хмуриться: Не те, не там, не то...

Старухой у разбитого Корыта я стою. Горчит судьба испитая – Местечка бы в раю...

Но изгнаны, затеряны В пространстве вне времен... Зазеленеть вновь стеблем бы, Обвить тебя вьюном...

В автобусах, на улицах, В прокуренном авто – От горечи сутулятся Бескрылые давно.

Поверь, я прилетела бы, Когда б была нужна – Ведь вне пространств и времени Любовь еще жива!

За молитвой

Как я могу тебе помочь?..
Лишь помолиться.
И пусть уходят беды прочь:
Сошью из ситца
Тебе я новую судьбу –
Поярче этой.
И вышью шелком я канву...
И пусть монетой
Фальшивою заплатишь ты –
Верну,

ведь даром
Приносят лучшие дары,
Не номиналом...
Как боль разлуки превозмочь?
Принять, смириться...
Не для любви дана мне ночь,
А шить из ситца
Одежды белые, как снег, –
Или цветные.
Ведь я не создана для нег,
Как все земные...

Люби меня

Ты полюби мои морщинки, Мои ошибки и запинки. И все мои несовершенства... И миг такой любви – блаженство!

Люби – за то иль вопреки, За добродетели, грехи, Люби за все, в чем нету прока, Сверх обозначенного срока.

Люби меня...

Ну, хоть чуть-чуть... И вверх смогу рвануть, как ртуть, Границы руша из стекла, И обретая два крыла.

Я за тобой взлечу на небо, Спущусь бесстрашно в ада недра. Душа и плоть неразделимы – Люби меня вовек и ныне!..

Дорога к гавани

В гавани своих объятий Защити от внешних бурь. Полюби совсем некстати – Пусть твердят, что блажь и дурь.

Все, что иррационально, Есть любви великой тайна. К ней причастны единицы... Не хотел бы причаститься?..

Стань причалом всех скитаний, Я устала быть одной, И мечтаю утром ранним В гавани укрыться той!..

Вчерашний день

Ты – пройденный этап, вчерашний день. Воспоминаний прежних меркнет тень. Еще воспоминаю о былом, Но птицей улечу, взмахнув крылом, В манящие и новые просторы, Где ждет меня счастливая love story...

Моя любовь

«Я люблю тебя, как сорок Ласковых сестёр…»

А.Ахматова

Моя любовь -

не прихоть и не страсть, Проверена годами испытаний. Я знаю наперед, что будет с нами, И даже время потеряло власть.

Люблю, как сорок ласковых сестёр. Ты знаешь: не предам и буду рядом, И поддержу заботой, нежным взглядом – Моей любви не затушить костер.

Как сорок тысяч ласковых сестер...

* * *

Все те, кому не по плечу, Не по карману – Я отступные заплачу, Не надо драмы.

Идите с миром, да скорей, Да без оглядки!.. А я устала от скорбей И от загадок.

А те, кто мне не по плечу, – Уже далече.... Переживу... Всё залечу... Ничто не вечно...

Эпилог

2

А мне уже совсем не важно: Трусливый ты или отважный, Правдив со мною или лжив. Проходит всё, свой срок отжив. А послевкусие обмана – Оскомина и смог туманный...

1

Ты ошибка моя или рок?..
Отдала свою жизнь под залог
Твоих прихотей пряных и шалых,
Посвятив свою жизнь зубоскалу...
Но всему, как известно, свой срок:
Дописать нам пора эпилог.

ГЮЛЮШ АГАМАМЕДОВА

Коллективная ответственность

В эпоху индивидуализма, когда каждый волен сделать свой выбор, во всяком случае в странах, объявивших себя демократическими, максима о коллективной ответственности звучит как парадокс. Сейчас довольно часто слышны заявления о коллективной ответственности россиян, с определенной долей равнодушия взирающих на происходящее в Украине. Замечу, что нередки случаи одобрения того, что творят российские военные в «братской» стране. В качестве оправдания такой позиции слышны возгласы о том, что «8 лет все молчали, наблюдая за тем, что творится на Донбассе».

Небольшое отступление по вопросу о сепаратистах в Украине. Правительство Украины с 2015 года предлагало ввести миротворцев ООН в зону конфликта; российские власти не согласились с этим предложением. Позднее, они, вроде бы, приняли предложение с одной оговоркой. Российские власти потребовали, чтобы миротворцы ООН официально согласовывали свои действия с администрацией сепаратистов. Российская администрация настаивала на признании третьей стороной конфликта сепаратистов, кроме реальных конфликтующих сторон России и Украины. То есть, признать за сепаратистами право на субъектность. Украина воздержалась от принятия подобного предложения, что вполне естественно.

Нам хорошо знакома такая ситуация. В ходе конфликта в Карабахе, Азербайджану настоятельно «рекомендовали» признать третьей стороной конфликта администрацию сепаратистов в Карабахе. К счастью, руководство нашей страны не согласилось, так же, как и руководство Украины, на такой «миролюбивый» демарш.

Из сказанного ясно, что решение вопроса не интересовало российское руководство. Вернее, интересовало только в одном варианте: отторжения территорий от Украины. В чем весь мир убедился после 24 февраля, когда Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, лицемерно уверяя до вторжения, что скопление российских войск на границе с Украиной — это плановые учения.

В тоталитарных странах «коллективная ответственность» выступает в качестве «коллективной безответственности». Совершенно очевидно, в обществе, где все решает один, самый мудрый и самый ответственный руководитель, в некоторых случаях группа товарищей, ответственность, если следовать логике, должна лежать на том, кто принимает решения. Такая постановка вопроса вполне устраивает большинство граждан, сбросивших с себя груз ответственности принятия решений. «Вот они там, наверху, пусть думают, как решать, а я, человек маленький, от меня ничего не зависит, мне семью содержать, детей растить». А ведь и в самом деле, в подобном обществе от гражданина страны ничего не зависит. В том и трагедия тоталитарного государства, что граждане низведены до уровня одушевленных манекенов, призванных «одобрять и поддерживать» решения партии и правительства. В языке, в частности, в русском, такое положение вещей зафиксировано языковыми клише советского периода. «Все, как один», «в едином порыве». В статьях советского периода, даже в научных, почти невозможно заметить местоимение «я». Вместо «Я» – коллективное «Мы». Легче, безопаснее спрятаться за безликим «мы». Странный оборот, вызывающий улыбку «есть мнение». Чье мнение?

Очень тяжело, невозможно жить в подобном обществе людям, привыкшим задавать себе вопросы, даже не всегда находя на них ответы. Тем, кто привык думать, анализировать факты, делать выводы, с чем-то соглашаться, либо, наоборот, возмущаться.

Человек может ошибаться, менять свое мнение на противоположное, но он не прекращает размышлять.

В тоталитарном обществе, для того, чтобы искоренить даже ростки инакомыслия, (советский термин), прибегают к форматированию сознания людей. Да, та самая пропаганда и закрытость общества. Сектантство, если хотите. Одним из главных постулатов является внушение о принадлежности к одной, особенной общности, превосходящей всех других во всех отношениях. Мы – лучшие. Самые красивые, умные, храбрые, добрые, душевные. С особой душой, особой статью, со светом в глазах. С нами никто в мире не сравнится. Все нам завидуют. Когда сознание своего превосходства и «особой миссии» в мире переварено благодарными гражданами, то дальше идут основные тезисы. Вокруг враги, мечтающие лишь об одном (других забот у них нет и быть не может): поставить нас на колени, поработить, разрушить нашу прекрасную страну. Всем известные тексты, лозунги, ничего нового и оригинального. Для чего необходимо создавать картину «осажденной крепости»? Ответ очевиден. Для удобного, простого, без затей, манипулирования всем обществом, утерявшем способность к рефлексии. Ручное управление. Сказали, что бывшие братья, теперь враги, нацисты, далее по списку, значит, враги. Приказали «затянуть пояса», поскольку «проклятые империалисты» спят и видят, как уничтожить наше святое государство, во главе которого стоит былинный богатырь, значит, затянем пояса. Не привыкать.

Большую часть современной истории Россия, а до нее СССР жили и живут в условиях «осажденной крепости». О том, что засаду этой крепости устроили свои же руководители, никто не скажет. Большинство об этом не догадывается, а меньшинство, то, что все видит и понимает. боится, как правило, не только сказать, но и подумать.

Для успешного форматирования сознания огромной массы людей необходим серьезный аппарат пропагандистов, согласных за материальные блага со страстью рекламировать невообразимые, безумные идеи.

Достаточно посмотреть на новости Северной Кореи, на то, как диктор, женщина с непередаваемой интонацией (это надо слышать) рассказывает об успехах страны и – главное, о великом, солнцеликом правителе, чтобы составить представление о том, как это делается на простейшем уровне.

Безусловно, есть более высокий уровень. Когда пропаганда пытается, найдя чувствительные точки в сознании людей, бить по ним беспрерывно. Ну, как бомбят Мариуполь сторонники «военной операции» в Украине.

Казалось бы, во времена интернета нет ничего проще, чем найти реальную информацию о происходящем. Столько новостных агентств, во всех точках Земного шара, что сложность в основном заключается в выборе, ну и в знании иностранных языков. Да и то, сейчас у серьезных новостных агентств есть версии на многих языках мира. «Не все так просто», как говорят сторонники российской «спецоперации» в Украине. И сегодня есть такие регионы, где интернет недоступен, либо сильно ограничен, как в Китае.

Процесс оболванивания массы стар. Как этот мир.

Французы называют такой процесс «lavagedecerveau», англичане – «brainwashing», в русском варианте – промывание мозгов. Именно так.

Люди отказываются от своего видения мира. Под воздействием агрессивной пропаганды они начинают мыслить и реагировать, как их верховный правитель. Верховный Жрец, Государь, Император, Генеральный секретарь Политбюро компартии, Президент. Назовите главу общности людей как угодно, суть не меняется. И методы практически те же. Антураж. Свита. Символы. Безумные идеи. За занавесом остается суть этого шоу. Власть и деньги. Тоталитарный режим жизнеспособен лишь в атмосфере тотальной лжи. Еще и по этой причине идея осажденной крепости столь популярна в такого рода режимах.

Железный занавес в СССР гарантировал невозможность сравнить жизнь советских трудящихся с «загнивающим Западом». Сегодня такой занавес выстроить немного проблематично. Однако в случае измененного сознания любая информация извне автоматически воспринимается как ложная, фейковая. Да и к тому же блокировка сайтов становится рутиной для тоталитарных государств.

К примеру, в России заблокировали несколько азербайджанских сайтов.

Российскую пропаганду независимый журналист Александр Невзоров охарактеризовал, как «преступную дрессировку». Да, дрессировку зверей в цирке. Что это за дрессировка? Осознанная дрессура зверей на выполнение кровавых преступлений, а такие факты были в истории. Подобную дрессировку Невзоров сравнил с приемами современной путинской пропаганды. Таким образом он объясняет крайне жестокое, преступное отношение российских солдат к мирному населению захваченных украинских городов и сел.

Когда сознание большинства совершенно изменено, отформатировано в нужном российскому руководству ключе, то можно не беспокоиться о том, какие басни придумывать для объяснения все возрастающих потерь своих солдат в жестокой войне. Граждане сами все сделают, придумают, объяснят, вытрут слезы и пойдут сражаться с «коварным и преступным врагом» дальше.

Падение тоталитарного режима, в конкретном случае путинского режима, станет катастрофой не только для «элиты», но и для каждого гражданина, тем или иным образом поддерживавшим режим. Коллективная безответственность граждан, когда решает все один тиран и его окружение, трансформируется в коллективную ответственность перед мировым сообществом. Об этом хорошо знают немцы, пережившие кошмар Второй мировой войны, и до сих пор живущие с определенным комплексом вины. С ним не так просто справиться, как оказалось.